

Г. А. БЯЛЫЙ

*В. М. Таршин
и литературная борьба
восемидесятых годов*



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА-ЛЕНИНГРАД

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Институт Литературы (Пушкинский Дом)

Г. А. БЯЛЫЙ

В. М. ГАРШИН

**И ЛИТЕРАТУРНАЯ БОРЬБА
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1937 · ЛЕНИНГРАД

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР
Апрель 1937 г.

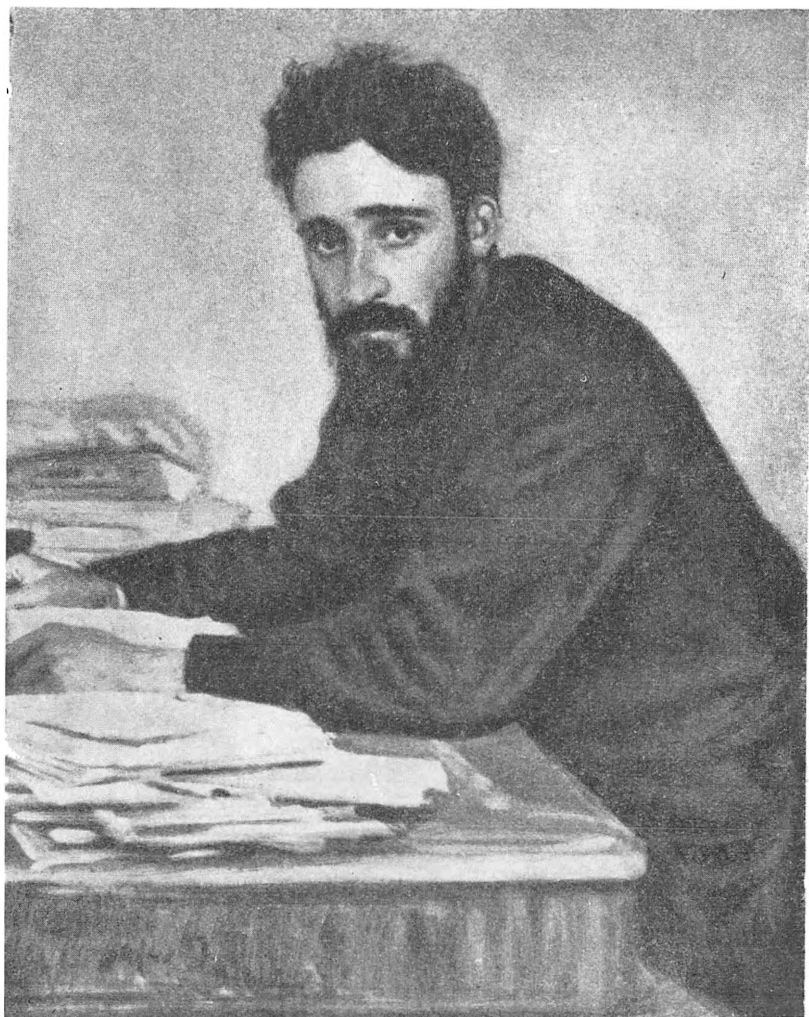
Непременный секретарь академик *Н. Горбунов*

•

Редактор издания Б. М. Эйхенбаум
Технический редактор Л. А. Федоров
Ученый корректор О. Г. Крючевская

Сдано в набор 27 июля 1936 г.
Подписано к печати 1 апреля 1937 г.
212 стр. + 2 вкл. Формат 62 × 94 см.
13¹/₂ п. л. 38480 зн. в п. л 12.75 уч.-авт. л.
Тираж 10.225 Ленгорлит № 1377.
АНИ № 1342. Заказ № 2988.

Типография им. Володарского, Ленин-
град, Фонтанка, 51.



В. М. Гаршин.
С портрета работы И. Е. Репина, 1884 г.

Всеголовод Михайлович Гаршин принадлежит к числу очень мало изученных писателей. Исследователи русской литературы 1870-х годов ограничивают изучение этой эпохи преимущественно творчеством писателей старшего поколения. Младшая генерация писателей этого периода, выдающимся представителем которой является В. М. Гаршин, обычно остается вне поля зрения исследователей. Между тем в творчестве молодого поколения беллетристов 70-х—80-х гг. особенно ясно сказались идейные и художественные сдвиги этой переломной эпохи. В творчестве этих писателей, и в особенности в творчестве Гаршина, радикально-демократическая линия литературы того времени достигает высокого напряжения, и в то же время обозначается процесс начинающегося распада ее, который находит дальнейшее развитие в 90-х годах и в начале нового века. Вследствие этого творчество такого писателя, как Гаршин, предстает перед нами как сложное и противоречивое целое, анализ которого, благодаря своей сложности и противоречивости, представляет особенно благодарную задачу для литературоведа. Старая дореволюционная критика почти ничего не сделала для уяснения этой проблемы. Напротив, Гаршина обычно охотнее чем других писателей изымали из исторической перспективы, ограничиваясь общими психологическими характеристиками его как писателя-пессимиста, как писателя-„скорбника“, выразителя „больного поколения“ и т. п. Зачастую его творчество рассматривалось как материал для объяснения неизбежности того трагического финала, которым закончил свою жизнь этот замечательный писатель. Вопрос об объективной роли его творчества в литературной борьбе его времени при этом не ставился вовсе или почти не ставился. Какое значение имели те элементы его творчества, которые обычно назывались „пессимистическими“, каково было конкретное

содержание и социальная функция основных его тем и образов для того момента, когда его произведения появлялись в свет, — вот те естественные вопросы, на которые мы однако не найдем ответа почти ни в одной общей характеристике гаршинского творчества. Точно так же совершенно не был освещен вопрос и об отношении к творчеству Гаршина основных литературных группировок 70-х и 80-х годов, вопрос о той борьбе, которая велась вокруг гаршинского творчества как при жизни писателя, так и непосредственно после его смерти.

Ранняя социологическая критика, которую иногда называют марксистской, а по существу следовало бы назвать квазимарксистской, не прибавила почти ничего нового к общим характеристикам старых авторов. Такие определения Гаршина, как выразителя „томления и искания“ (Н. Коробка), как „женственно-созерцательной натуры“, которая „стонала в своих песнях“ (М. Неведомский), как „художника-страстотерпца“ (В. Львов-Рогачевский) — конечно никак не разрешали основных проблем гаршинского творчества.

Если иногда и делались попытки наполнить эти отвлеченные характеристики конкретным историческим и историко-литературным содержанием, то они сводились преимущественно к суммарному определению всего творчества Гаршина как литературного выражения отхода разночинной интеллигенции от передовых общественно-политических движений 70-х годов, как выражение разочарования в прогрессивных устремлениях предшествовавшего десятилетия. Е. А. Андреевич-Соловьев, например, видел во всей литературной деятельности Гаршина — „отказ от веры своего века, отказ мучительный“, „страстную жажду веры... хотя бы безумной, ведущей за собой смерть“.

Таким образом, Гаршин превращался чуть ли не в реакционного писателя, в выразителя реакционных взглядов и устремлений 80-х гг. Небольшое зерно истины, которое было в этих определениях, совершенно обесценивалось суммарностью и неконкретностью подобных характеристик. Однако, эта концепция Гаршина надолго утвердилась в литературе, приняв к настоящему времени характер уже довольно устойчивой традиции. По существу эта традиция не нова. Ее истоки можно проследить уже в самых ранних отзывах на отдельные

рассказы и сборники Гаршина. Подобная суммарная трактовка всего творчества Гаршина восходит к либеральной и правонароднической критике, которая в свое время стремилась использовать гаршинское творчество для собственных целей.

Наши представления о Гаршине должны быть прежде всего очищены от этих традиционных взглядов, искажающих историческое значение его литературной деятельности. Большую роль в деле восстановления подлинного облика Гаршина сыграл вышедший в последние годы III том его „Полного собрания сочинений“, заключающий в себе письма Гаршина.

Настоящая работа представляет собою попытку дать конкретно историческое представление о В. М. Гаршине, показать его связь с эпохой, выяснить исторические условия формирования и развития его личности, взглядов и творчества. Произведения Гаршина рассматриваются здесь в связи с беллетристикой и массовой газетно-журнальной публицистикой 70-х — 80-х гг.; его рассказы сопоставляются с аналогичными произведениями его литературных союзников и противников; приводится также обзор критической полемики, которая велась при жизни Гаршина вокруг его произведений.

На этом фоне, на фоне живой литературной борьбы 70-х — 80-х гг., рельефнее обрисовывается трагический облик Гаршина, заметнее выступают заслуги писателя перед его современниками и резче выделяются те черты, которые дают его личной судьбе и его литературному наследию право на сочувственное внимание советского читателя.

Гаршин был одним из тех писателей, образ которого как бы сливается с трагическими образами его героев, и его биография служит поэтому превосходным дополнением к тем картинам общественной жизни, которые нашли свое отражение в его произведениях.

Всеволод Михайлович Гаршин родился 2 (14) февраля 1855 г. в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии в дворянской семье скромного достатка. Его отец был военный, — офицер кирасирского полка, мать его — Екатерина Степановна, урожденная Акимова, также происходила из военной семьи — ее отец был морским офицером. Первые детские впечатления Всеволода Михайловича были связаны именно с военным бытом, с полковой обстановкой. В раннем детстве Гаршину приходилось переезжать с места на место с полком в котором служил его отец.

„Как сквозь сон помню полковую обстановку, огромных рыжих коней и огромных людей в латах, белых с голубым колетах и волосатых касках“, — сообщает Всеволод Михайлович в своей автобиографии.¹

Детские годы будущего писателя были очень тяжелы не только из-за трудных для мальчика условий жизни, связанных с постоянными переездами. Когда Всеволоду Михайловичу было пять лет, произошел разрыв между родителями Гаршина. Мать будущего писателя, Екатерина Степановна Гаршина, порвала со своим мужем и ушла из дому с П. В. Завадским, воспитателем двух старших братьев Всеволода Михайловича. Личность П. В. Завадского заслуживает особого внимания: он был членом харьковского тайного общества, которое ставило своей целью произвести „переворот существующего образа правления в России“. За участие в этом обществе П. В. Завадский, в результате заявления, поданного отцом Всеволода Михайловича сначала харьковским, а потом петербургским

властям, был арестован. После ареста П. В. Завадский сидел в Алексеевском рavelине, затем был отправлен в ссылку и, наконец, вторично возвращен в Петропавловскую крепость, откуда через полгода был снова отправлен в ссылку (1863 г.).

Уйдя от мужа, Екатерина Степановна Гаршина взяла с собой старших сыновей, маленький же Всеволод остался в Старобельске, Харьковской губ., где жил тогда его отец. В 1863 г. мать приехала из Петербурга и увезла с собой и девятилетнего Всеволода. В 1864 г. он был определен в одну из петербургских гимназий.

Эта семейная драма несомненно произвела гнетущее впечатление на малолетнего Всеволода.

„Пятый год моей жизни был очень бурный... — вспоминал впоследствии Всеволод Михайлович в своей автобиографии, — некоторые сцены оставили во мне неизгладимое впечатление и б. м. следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в эту эпоху“.²

Со времени переезда в Петербург Всеволод Михайлович стал, как видно, предметом борьбы между отцом и матерью. Его юношеские письма свидетельствуют о ревнивом отношении к нему Екатерины Степановны, боявшейся враждебного ей отцовского влияния на Всеволода Михайловича.³ Ему приходилось оправдываться перед матерью за переписку с отцом, отвечать на ее упреки и рассеивать ее подозрения. Уже совершенно взрослым человеком Всеволоду Михайловичу пришлось снова выслушать нарекания матери за несколько строк в его рассказе „Ночь“, в которых герой рассказа сочувственно вспоминает своего отца. Нечего и говорить, что подобное двойственное положение не могло не тяготить Гаршина.

Но, будучи источником тяжких впечатлений, этот же разрыв между родителями Гаршина имел и другую, очень важную для формирования личности будущего писателя, сторону. Этот разрыв имел политическую подкладку, и поэтому впечатления семейной жизни должны были тесно сплестись в сознании Гаршина с общественными вопросами. Мать Гаршина, будучи связана с Завадским, поддерживала знакомства и с другими революционными деятелями 60-х годов и сама считалась личностью политически неблагонадежной, вследствие чего дважды подвергалась обыску. В гимназические годы Всеволод Михай-

лович два лета провел у П. Завадского в месте ссылки последнего, в Петрозаводске, что несомненно наложило заметный отпечаток на формирование его взглядов и настроений.

Таким образом, детские годы В. М. Гаршина, обстоятельства его жизни в семье, сразу ввели будущего писателя в круг широких общественных вопросов.

Что касается военных интересов, то они усиленно поддерживались в семье Гаршиных еще во время совместной жизни родителей. В доме Гаршиных часто бывали офицеры, участники недавно закончившейся севастопольской кампании. Разговоры о минувшей войне, об отдельных эпизодах обороны Севастополя не прекращались в доме Гаршиных, и Всеволод был внимательным слушателем этих военных бесед. Разговоры о войне производили настолько сильное впечатление на мальчика, что уже в раннем детстве у него явилась мысль самому отправиться в поход. „Он собирался в путь, — вспоминает со слов старших его брат Евгений Михайлович, — прощался с матерью, говоря ей: „Что же делать, все должны служить““⁴.

Если первые проблески сознательной жизни Всеволода Михайловича связаны с отголосками севастопольской войны, то момент окончательного формирования его личности совпал с идеологической подготовкой другой войны — русско-турецкой.

В общественном сознании его времени эти две войны, разделенные почти двадцатилетним промежутком, были тесно связаны одна с другой.

Севастопольская кампания сыграла, как известно, большую роль в истории русского крепостнического государства. Неудача севастопольской войны означала крах крепостнической системы. Поражение николаевской России наглядно показало отсталость и разложение крепостнической экономики и вскрыло массу вопиющих злоупотреблений, развернувшихся на основе прогнившей феодальной системы. Провал севастопольской кампании ускорил проведение крестьянской реформы. Недаром отголоски этой войны так громко звучали в шестидесятые годы, в годы „освобождения крестьян“.

С середины 70-х гг. начинается инспирированное русским правительством движение в славянских странах против турецкого владычества. Искусственно подогреваемое официальными идеологами, „славянское“ возбуждение широкой волной распространяется по России. Выражая стремления русского про-

мышленного капитала к завоеванию восточных рынков, „славянская“ кампания официально прокламируется как бескорыстное движение во имя освобождения славянских народов. Начинается вербовка добровольцев в сербские войска, сражающиеся против Турции. Эта кампания заканчивается в 1877 г. объявлением русско-турецкой войны. На короткий срок шовинистическое возбуждение охватывает и значительную часть передовых, даже революционно настроенных кругов.

Всеволод Михайлович, к этому времени уже студент Горного института, естественно был подготовлен к тому, чтобы увлечься начавшимся движением. Это увлечение Гаршина нашло отражение в первых его литературных опытах. Война и привлекает и отталкивает Гаршина. В 1874 г. он пишет стихотворение „На выставке картина Верещагина“, ⁵ являющееся откликом на войну за покорение Средней Азии, которая велась в продолжение всего царствования Александра II. В войне начинающий автор „увидел смерть, услышал вопль людей, измученных убийством, тьмой лишений“, но в то же время он восхищен храбростью русских солдат, — „готовых пасть, пожертвовать собой“. На „добровольческое“ движение Гаршин откликается стихотворением „Друзья, мы собрались перед разлукой“ (1876 г.), ⁶ в котором очень ярко сказывается то славянофильское возбуждение, которое на короткий срок охватило и будущего автора „Четырех дней“.

В том же 1876 г. Всеволод Михайлович делает попытку записаться добровольцем в сербскую армию. „К счастью, — вспоминает он впоследствии в своей автобиографии, — меня не пустили, так как я был призывного возраста“. „12 апреля 77 года, — пишет он далее, — я с товарищем (Афанасьевым) готовился к экзамену из химии; принесли манифест о войне. Наши записки так и остались открытыми: мы подали прошение об увольнении из Института и уехали в Кишинев“. ⁷

В Кишиневе В. М. Гаршин был зачислен рядовым 138 Болховского пехотного полка, проделал очень тяжелый поход по Дунаю и 11 августа, в сражении при Аясларе, был ранен в ногу. В конце месяца, в числе других раненых, он был доставлен в Россию. По окончании войны Гаршин был произведен в офицеры, но меньше чем через год вышел в отставку. Этот военный поход Гаршина дал русской литературе знаменитый рассказ „Четыре дня“, положивший начало литератур-

ной известности Гаршина, и ряд других его рассказов на военные темы, написанных уже по окончании войны.

Таков итог влияния на Гаршина одной большой струи общественных интересов, под воздействием которых рос Всеволод Михайлович. Что касается другого источника влияний, именно сложной совокупности вопросов и впечатлений, связанных с революционным движением 70-х гг., то воздействие этого фактора на сознание Гаршина было еще сложнее и многообразнее.

Даже читать он выучился по книжкам революционно-демократического журнала „Современник“. В возрасте 8 лет он читал „Что делать“ Чернышевского в то самое время, когда Чернышевский сидел в крепости. В гимназические годы он с увлечением знакомится с популярной в революционных кругах книгой Берви-Флеровского „Азбука социальных наук“. „Прелесть что такое!“ — так отзывался он об этой книге в письме к матери.⁸ Гимназистом он читает также речи Лассалля к германским рабочим и уже на студенческой скамье знакомится с „Историческими письмами“ Лаврова. Нечего и говорить, что, наряду с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем, популярная демократическая беллетристика — Щедрин, Успенский, Решетников, Омулевский, из иностранных — Шпильгаген и другие — была излюбленным чтением юного Гаршина.

В 1874 г. Гаршин сближается с кружком молодых художников-передвижников. Как известно, передвижники в основной своей части были живописцами демократического направления и ставили своей целью разработку изобразительными средствами актуальных общественных тем. Эта связь Гаршина с передвижниками также сыграла значительную роль в сближении его с демократическими идеями 70-х гг. и нашла отражение как в ряде его художественно-критических статей, так и в его беллетристических произведениях („Художники“, „Надежда Николаевна“).

Увлечение общественными вопросами соединялось у Гаршина с интересом к естествознанию. Наблюдения над природой, над растительным и животным миром является одним из излюбленных занятий Гаршина в детские годы. Этот интерес к естествознанию Гаршин сохранил на всю жизнь. Впоследствии он расширил круг своих занятий по естественным наукам, присоединив к ботанике и зоологии еще физиологию и психиа-

трию. Недаром в числе самых близких друзей Гаршина, имевших на него большое влияние, находятся такие видные естественники, как известный педагог-натуралист А. Я. Герд и зоолог В. А. Фаусек. Кончая гимназию (1874 г.), Гаршин мечтал поступить именно на естественный факультет, и лишь запрещение принимать воспитанников реальных гимназий в университеты заставило его пойти в Горный институт, хотя инженерская карьера совсем не привлекала его. Это устойчивое влечение Гаршина к естествознанию, к позитивным наукам также несомненно стоит в связи с общей линией интересов демократической среды. Социология и естествознание, как известно, считались главнейшими предметами изучения в радикально-демократических кругах.

С раннего детства и до середины 80-х гг. Гаршин постоянно находится и в тесных личных сношениях с этими кругами. В гимназические годы он бывает частым гостем в доме А. Г. Маркеловой, приятельницы его матери, видной деятельницы революционного движения 60-х гг. А. Г. Маркелова руководит и чтением молодого Гаршина, от нее именно он и получает речи Лассаля.

Первые стремления к искоренению „мирового зла“ появились у Гаршина очень рано. А. Налимов, один из товарищей В. М. по гимназии, характеризуя Гаршина-гимназиста как веселого, подвижного и увлекающегося юношу, добавляет при этом: „Не редко, однако, бывало, что этот веселый на вид, беззаботный гимназист вдруг присмирееет, смолкнет, будто не доволен и собою и окружающим, будто горько ему, что кругом недостаточно умного и хорошего. Иногда при этом с уст его срывались замечания о том, что необходимо бороться со злом, и высказывались под час очень странные взгляды, как устроить счастье всего человечества“.⁹

Можно предполагать, что у гимназического начальства В. М. Гаршин был на подозрении как сочувствующий социализму. В одном из писем к матери от 1871 г. Всеволод Михайлович сообщает о том, как его пытался „подвести“ преследовавший его законоучитель. „Я отвечал ему «о первом обществе христианском», вдруг он спрашивает: «А что, господин Гаршин, скажите мне, очень это на социализм похоже?» — Я отговорился неведением, а то сидеть бы мне в камере“.¹⁰

Итак с раннего детства Гаршин находился под влиянием радикально-демократических идей народнического толка. Чтобы определить характер этого влияния, необходимо вспомнить, что представляло собою народническое движение того времени.

Экономическая отсталость России, преобладание класса мелких производителей при господстве товарного хозяйства обусловили собою и направление деятельности и характер идеологии народничества. Свою борьбу с абсолютизмом и остатками крепостничества народники вели на основе ложной теории о возможности предотвращения капитализма в России, в крестьянской общине они видели залог „социалистического“ развития России, совершенно не замечая классового расслоения внутри общины. Крестьянство народники рассматривали как единую массу, готовую к социализму, но в то же время серую и инертную, как пассивную толпу, которую горсть интеллигентов — „героев“ сможет поднять на социалистический переворот. Потерпев крах в своих попытках организовать восстание крестьянской массы, народники уже к концу 70-х годов отказались от дальнейшей работы среди крестьянства и все свои надежды возложили на заговорщическую борьбу с правительством интеллигентов-одиночек и интеллигентских групп. Отсюда вырастает народническая тактика индивидуального террора, означающая совершенный отказ от какого бы то ни было массового движения.

„Массового движения террор не вызвал, а, наоборот, ослабил его, так как политика и практика индивидуального террора исходят из народнической теории активных „героев“ и пассивной „толпы“, ждущей от героев подвига. А такая теория и практика исключают всякую возможность активизации масс, возможность создания массовой партии и массового революционного движения“.¹¹

Идеализация общины, игнорирование расслоения крестьянства и роста капиталистических отношений, противопоставление героев и толпы, отказ от массовой борьбы, тактика политических заговоров и индивидуального террора — вся эта реакционная система народничества была впоследствии разгромлена революционным марксизмом и нашла классическую оценку в трудах В. И. Ленина.

С первых шагов своей литературной деятельности Гаршин

сразу примкнул к легальному отряду старого народничества 70-х гг., группировавшемуся вокруг „Отечественных Записок“. Вернувшись с фронта, Гаршин становится постоянным сотрудником этого журнала и работает в нем до момента его закрытия в 1884 г. Здесь он входит в тесные отношения с руководителями этого журнала М. Е. Салтыковым-Щедриным и Н. К. Михайловским и ведет дружбу с Гл. Ив. Успенским. В 1880 г. он становится пайщиком литературной артели, которая берет в свои руки журнал „Русское Богатство“ и придает ему характер народнического органа. В состав этой артели, кроме него, входят Н. Златовратский, Г. Успенский, П. Засодимский и другие писатели народнического лагеря.

Войдя в среду радикальных литераторов, Гаршин ведет знакомство и с деятелями „Народной Воли“. Разгром этой партии после цареубийства 1 марта 1881 г. лишил Гаршина многих хорошо известных ему людей. К числу его знакомых принадлежат такие видные деятели революционного движения, как казненный в 1880 г. А. К. Пресняков, П. Ф. Якубович, Н. С. Русанов и др.

Влияние народнической идеологии на Гаршина совершенно несомненно. Так, уже в ранней молодости он обнаруживает, например, острое недовольство бумажным освобождением крестьян.

„Сегодня 19 февраля, — пишет он в 1875 г., — достопамятный день, показавший всю истину слов Лассаля, что конституция не делается только на бумаге. Бумажное освобождение!“¹²

Эта же оценка крестьянской реформы нашла отражение и в юношеском стихотворении Гаршина, посвященном 15-летию крестьянской реформы. В этом стихотворении он с горечью говорит о страдающем мужике, об „израненном теле народа“. Вообще юношеские литературные опыты Гаршина посвящены, кроме темы войны, разработке традиционной народнической тематики. Здесь мы найдем и аллегорическое изображение борьбы за свободу („Пленница“) и столь характерное для народничества обличение капиталистического города, показанного только как место „вечной слякоти, туманов, людей больных и телом и душой... погони беспощадной за наживой, разврата всех видов и степеней, самоубийств, к ко-

торым все привыкли, и смерти, здесь поставившей свой трон". Это непонимание прогрессивного значения капиталистического города в высокой степени типично для народнической идеологии. Сюда же относится и первый напечатанный очерк Гаршина „История Энского земского собрания“,¹³ дающий сатирическое изображение „земского парламента“, оторванного от нужд и интересов народа. Отметим, что эти два круга тем, навеянных, с одной стороны, войной и, с другой — народническим движением, обозначившиеся уже в период предистории гаршинского творчества, стали содержанием и зрелой поры его литературной деятельности.

В отношении Гаршина к современной ему политической действительности сказываются прогрессивно-демократические его настроения. Факты полицейских преследований и правительственного террора всегда возбуждают живейшее негодование Гаршина. Он воспринимает все эти события крайне болезненно, с чувством глубокой тоски и горечи. Вот в каких тонах он отзывался, например, об арестах участников студенческих беспорядков в 1874 г.: „Я не могу больше писать, — восклицает Гаршин, — когда я говорю об этом, я не могу удержаться от злобных судорожных рыданий“.¹⁴ С возмущением пишет он и о каторжных приговорах участникам революционной демонстрации на Казанской площади в 1876 г.¹⁵ и, значительно позднее, о закрытии врачебных курсов,¹⁶ об арестах литераторов,¹⁷ о запрещении оппозиционных журналов. „Скоро, вероятно, вообще запретят всякую литературу. Оно бы и лучше: смерть лучше агонии“, пишет он в 1884 г.¹⁸

Современники и друзья Гаршина в своих воспоминаниях свидетельствуют о несомненном сочувствии Гаршина народникам и их борьбе с самодержавием. Так, Н. С. Русанов сообщает в письме к биографу В. М. Гаршина С. Дурылину: „Гаршин несомненно сочувствовал борьбе народолюбцев с абсолютизмом. Поскольку его интересовала собственно социалистическая сторона „Народной Воли“, сказать в точности не могу. Но припоминаю, что народнические тенденции в смысле горячих симпатий к мужику у него, несомненно, были, окрашенные всегда присущей ему струей болезненной чувствительности к страданиям бедных, слабых, несчастных и т. п.“¹⁹

И. И. Попов также вспоминает, что Гаршин восторженно отзывался о народолюбцах:

„— Мне хотелось бы воплотить этих людей в художественные образы, но это выше сил моих, да, к сожалению, с революционерами я не встречаюсь и боюсь встречаться с ними.

Я недоуменно посмотрел на В. М.

— «Не за себя боюсь... Ты знаешь, что я временами болею. И вот в эти-то минуты болезни я могу наговорить бог знает что... Нет, мне не место там, где конспирация».

Я впервые услышал от Гаршина мотивы, почему он держался в стороне от революции²⁰.

На самом деле были, конечно, более глубокие причины, заставлявшие Гаршина держаться в стороне от революции. Восхищаясь личными качествами революционеров, сочувствуя целям их борьбы, негодуя против самодержавия, Гаршин тем не менее решительно не принимал самой идеи революционного подполья. Уже в ранней молодости он расценивал участие в подпольных организациях как глупость. Так, в 1874 г., возмущаясь „буржуазной подлостью общества“, оправдывающего правительственные насилия над студенческой молодежью, он так оценивает положение вещей:

„С одной стороны власть хватающая и ссылающая, смотрящая на тебя, как на скотину, а не на человека, с другой — общество, занятое своими делами, относящееся почти с презрением, с ненавистью... Куда идти, что делать? Подлые ходят на задних лапах, глупые лезут гурьбой в нечаевцы и т. д. до Сибири, умные молчат и мучаются. Им хуже всего. Страдания извне и изнутри“²¹.

Совершенно очевидно, что глупостью в глазах Гаршина было не участие в данной конкретной партии, а самая идея партийной борьбы и подпольной организации. Тремя годами позднее, в одном из писем с фронта, Гаршин еще резче повторяет свою отрицательную оценку „кучки людей“, вступивших в борьбу с теми явлениями жизни, против которых он и сам негодовал.

„...быть может, только сама кучка, да родственники и знакомые ее членов, да административный контингент, назначенный для ее обуздания — знают об ее существовании“, — писал он.²² В этом письме Гаршина налицо, с одной стороны, трезвая мысль о том, что народнические революционные организации — это „кучки“, не имеющие массового характера, но,

с другой стороны, здесь опять-таки видно упорное отталкивание Гаршина от революционного подполья.

К народническому террору на протяжении всей своей сознательной жизни Гаршин относился резко отрицательно. Было бы очень заманчиво увидеть в этом свидетельство политической прозорливости Гаршина, что поставило бы его значительно выше большинства его современников и сверстников. Но гаршинская критика народнического террора не имеет ничего общего с той беспощадной борьбой, которую вел впоследствии революционный марксизм против этой интеллигентской политики отчаяния, заменившей собою массовую работу среди крестьянства и оказавшей развращающее влияние на рабочее и крестьянское революционное движение. Гаршина возмущает в террористической тактике народников не отрыв революционного движения от народных масс, а самый факт кровавой борьбы, самая идея насилия. „Кровь возмущает меня, но кровь отовсюду“, — пишет он в 1880 г.²³

Итак, мы приходим к выводу, что, искренно возмущаясь самодержавно-полицейским режимом, презирая „буржуазную подлость общества“, восхищаясь личными качествами многих революционных деятелей, находясь с некоторыми из них в близких, дружеских даже, отношениях, Гаршин сам революционером не был ни по складу характера, ни по убеждениям. Его взгляды все время отличались известной политической наивностью, которая была характерна для народников вообще, для легальных народников в особенности.

Очень показательным свидетельством этой наивности является известный эпизод его биографии, именно — попытка заступничества перед всемогущим диктатором гр. М. Т. Лорис-Меликовым за революционера Млодецкого, совершившего в 1880 г. покушение на жизнь графа. В. М. Гаршин обратился к Лорис-Меликову с письмом, в котором убеждал простить Млодецкого, остановить готовящуюся казнь. Друзья В. М. Гаршина передают с его слов, что Гаршин лично нанес визит Лорис-Меликову и со слезами умолял о пощаде Млодецкому. Эта наивная попытка Гаршина обуздать правительственные репрессии словом убеждения, мольбами и просьбами очень наглядно иллюстрирует и его глубокое сочувствие революционерам и его непонимание реальных законов политической

борьбы. Таковы факты, характеризующие общественно-политический облик Гаршина.

Внешние события его жизни после возвращения с фронта несложны. Осенью 1878 г. В. М. поступил вольнослушателем на Историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1880 г., после неудачного выступления в защиту Млодецкого, Гаршин пережил тяжелый приступ психической болезни. Во время этого приступа он ездил к А. Толстому в Ясную Поляну, где долго беседовал с великим писателем, причем Толстой даже не заметил, что имеет дело с ненормальным человеком. Больной Гаршин провел несколько месяцев в харьковской больнице для умалишенных, оттуда был препровожден в петербургскую лечебницу Фрея. По выходе из лечебницы, он был увезен в Харьков, а оттуда в херсонское имение своего дяди В. С. Акимова, где окончательно оправился. Этот приступ был уже не первый у Гаршина, впервые он захворал еще в гимназические годы (1872 г.). Болезнь Гаршина была наследственная, в его роду у многих было предрасположение к психическим заболеваниям, двое его братьев покончили самоубийством, один — при жизни Всеволода Михайловича, другой — после его смерти. Сам Всеволод Михайлович, будучи с детских лет жизнерадостным и физически крепким человеком, отличался все же повышенной нервной впечатлительностью и неуравновешенностью, что, несомненно, сильно осложняло его отношение к тяжелым и для здорового человека фактам и впечатлениям, которые давала ему общественная жизнь.

В 1882 г. Гаршин поступил на службу — помощником управляющего бумажным складом Анноловской писчебумажной фабрики, но эта работа была исключительно тяжела для него и, кроме того, давала ничтожный заработок. В следующем, 1883 г. Гаршин оставил эту работу и получил должность секретаря Съезда представителей железных дорог. В том же 1883 г. Гаршин женился на слушательнице Женских медицинских курсов Н. М. Золотиловой. Брак его оказался счастливым, и Всеволод Михайлович отзывался о нем, как об „исключении из матримониальных правил“.

В восьмидесятые годы Гаршин пишет свои крупнейшие по объему произведения: „Красный цветок“ (1883), „Медведи“ (1883), „Из воспоминаний рядового Иванова“ (1883),

„Надежду Николаевну“ (1885), а также издает два сборника своих рассказов — один в 1882 г. и второй — в 1885.²⁴ Эти сборники, особенно первый, возбудили оживленные споры в печати и содействовали укреплению его литературной известности. Популярность его достигает широких размеров: в 80-е гг. Гаршин становится любимым писателем радикальной молодежи. Его приглашают выступать с чтением своих произведений, и эти публичные выступления Гаршина, в особенности чтение отрывков из „Красного цветка“, сопровождаются горячими овациями молодежи.

В начале 80-х гг. Гаршин много работает над своим литературным образованием, он внимательно изучает европейскую литературу, читая в подлинниках Гете, Гюго, Ламартина, Флобера, Мериме, Мопассана и др.

Общественно-литературная позиция Гаршина в это время претерпевает заметные изменения, которые можно охарактеризовать как ослабление связей писателя с радикально-народническими кругами. С начала 80-х годов начинается общий процесс разложения старого народничества, который сказывается и на мировоззрении Гаршина, в частности, на его отношении к вопросу о крестьянстве. Гаршин никогда не был склонен к правомерно-народнической идеализации крестьянства: уже совсем молодым человеком, в 1873 г., он с горечью говорил о темноте и невежественности крестьянства, о его неотзывчивости к оппозиционным стремлениям передовой интеллигенции.²⁵ В начале 80-х гг. эти черты его общественных взглядов еще более углубляются, теперь он обнаруживает критическое отношение к одной из основных сторон народнической теории, к представлению о крестьянстве как о цельной и социально-однородной массе.

„...Насчет социальных стремлений, — пишет Гаршин из имения своего дяди в конце 1881 года, — так скажу, что не знаю как в других местах, а здесь в Херс. уезде Херс. губ. с «Черным переделом» — очень туго. Всякий норовит набить себе карман «капытул» и на этот капытул купить земли. Земля же сия возделывается пришлыми батраками — полтавцами, черниговцами и пр., т. наз. гетманцами. Положим плату дают им порядочную, сравнительно с В. Россией, но все-таки все держится на отношениях хозяина и батрака“.²⁶ Подчеркнутая фраза несомненно делает честь социальной

наблюдательности Гаршина, сумевшего увидеть капиталистические отношения в деревне.

80-е годы, как известно, ознаменовались значительным ростом рабочего движения и появлением первых марксистских организаций. Но Гаршин проходит мимо рабочего движения, мимо марксизма. Обнаруживая известную дозу политического реализма в оценке народничества, он все же эволюционирует вправо. Отходя от народничества, он начинает сближаться с менее радикальными общественно-литературными группами. Это сказывается и в изменении круга его личных связей.

Так, он вступает в дружбу с поэтом Я. П. Полонским, который был известен как человек весьма умеренных либеральных взглядов. В 1887 г. Гаршин принимает даже участие в юбилейном чествовании Полонского, несмотря на то, что радикальные общественные круги отнеслись к этому юбилею очень сдержанно. В начале 80-х гг. Гаршин вступает в переписку с И. С. Тургеневым и, по приглашению последнего, в 1882 г., гостит, в отсутствие хозяина, в имении Тургенева Спасском-Лутовинове. Характерно, что в одном из писем к Тургеневу, которое известно в вольной передаче самого Гаршина, Всеволод Михайлович „выражал надежду, что он (Тургенев. Г. Б.) принесет еще большую пользу литературе, даже если не будет писать — принесет ее, став человеком, вокруг которого собралась бы литературная молодежь“.²⁷ А между тем Тургенев этих лет был признанным представителем литературно-политического либерализма.

В это же время Гаршин сближается с двумя популярными поэтами 80-х гг. — Н. Минским и С. Надсоном. Минский в 70-х гг. примыкал к радикально-народническим кругам, но именно в начале 80-х гг. резко эволюционировал вправо и уже в 1884 г. декларативно отошел от своих прежних взглядов.

С. Я. Надсон также был выразителем кризиса народнического радикализма. Литературный путь его не отмечен столь резким переломом, как у Минского, но все же и для Надсона характерен отход от „гражданских“ традиций 70-х гг. Гаршина связывала с Надсоном самая тесная дружба. Гаршин любил творчество Надсона, ободрял молодого поэта и, когда Н. Минский в одной из своих газетных статей позволил себе некоторые выпады против Надсона, Гаршин поссорился с Минским и порвал с ним отношения.

В числе друзей Всеволода Михайловича в это время находится и старый харьковский знакомый семьи Гаршиных Ю. Н. Говорухо-Отрок, беллетрист и критик, в прошлом видный революционер, ставший затем ренегатом и перешедший в лагерь самой откровенной крепостнической реакции. В 80-х гг. Гаршин хлопочет о помещении в столичных журналах повестей Говорухи-Отрока, в которых уже явственно сказалось отступление их автора от революционного движения.

Этот новый круг знакомств Гаршина несомненно показателен для изменения общественно-политической ориентации писателя. Тем не менее, эти факты не дают все же возможности говорить о резком и осознанном разрыве его с радикально-народническими кругами. Он продолжает, например, считать „Отечественные Записки“ своей естественной и самой близкой трибуной. Закрытие этого журнала в 1884 г. он переживает как тяжелый личный удар.

„Мне очень горько: я не могу сказать, что я вполне принадлежал душой „О. Запискам“, но, все-таки, точно будто любимый человек умер. Как-то дико будет теперь видеть свои рассказы не под привычной желтой обложкой“, — пишет он под свежим впечатлением события.²⁸

Точно так же он с большой симпатией продолжает относиться к своим старым друзьям по „Отечественным Запискам“, многие из которых, в связи с закрытием журнала, подверглись аресту. Его письма той поры так же пересыпаны негодующими возгласами против полицейского режима, как и в молодые годы.

Таким образом можно говорить скорее о некотором отдалении Гаршина 80-х гг. от радикально-народнических кругов, чем об окончательном разрыве с ними.

И до того не отличавшийся четкостью и устойчивостью своих общественно-политических воззрений, Гаршин с середины 80-х гг., отдаляясь от народничества, начинает заметно склоняться в сторону аполитизма; его скептическое отношение к активной революционной борьбе еще более обостряется в эти годы. Ниже мы увидим, как это сказалось в его творчестве, здесь же отметим, что в несомненной связи с этим поворотом во взглядах и творчестве Гаршина находится его сближение с друзьями и последователями Льва Николаевича Толстого. С середины 80-х гг. Гаршин обнаруживает к тол-

стовству живой интерес, входит в близкие, даже дружеские отношения с ближайшим соратником Л. Толстого — В. Г. Чертковым и принимает участие в толстовском народном издательстве „Посредник“. Для этого издательства он перерабатывает „Четыре дня“ и „Медведей“, пишет „Сказание о гордом Аггее“ (недозволенное, однако, для народного чтения цензурой) и „Сигнал“.

Но опять-таки и это сближение Гаршина с толстовскими кругами не носит у него характера осознанного перехода в другой общественно-литературный лагерь. Напротив, он считает себя скорее противником учения Толстого; тем не менее влияние толстовских идей в его творчестве ощутительно сказывается. Этот вопрос требует специального разбора и будет освещен подробно в последующем изложении.

Во всяком случае несомненно одно: в восьмидесятые годы (ближе ко второй половине десятилетия) связи Гаршина с кругами старого народничества начинают ослабевать, наступает период перелома и поисков какой-то новой общественной позиции. Но окончательного завершения этот процесс не нашел: обострившаяся психическая болезнь внезапно оборвала жизнь писателя в самом начале нового пути.

После того тяжелого припадка болезни, который Гаршин перенес в 1880 г., резкие приступы ее больше не повторялись. Зато, начиная с 1884 г., Гаршин периодически, каждую весну, стал впадать в меланхолическое состояние, которое было чрезвычайно мучительно, хотя и продолжалось обыкновенно всего несколько дней. В марте 1888 г., переживая свой обычный приступ меланхолии, Гаршин собирался ехать в Кисловодск на дачу своего друга художника Ярошенко, но, накануне отъезда, 19 марта, в состоянии сильнейшей психической депрессии, он бросился в пролет лестницы и умер 24 марта (6 апреля) в больнице Красного Креста.

Его похороны прошли очень торжественно. Несколько тысяч человек провожали его до могилы. На гроб было возложено много венков, в том числе от студентов ряда высших учебных заведений Петербурга и от слушательниц различных женских курсов.

В. М. Гаршин похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Начало литературной деятельности В. М. Гаршина связано с русско-турецкой войной. Участник этой войны, Гаршин вступил в большую литературу рассказом „Четыре дня“, который был им написан под свежим впечатлением событий. В дальнейшем он неоднократно возвращался к работе над батальными сюжетами в целом ряде своих произведений, образующих особый тематический цикл. Своеобразие и социальное значение этого цикла может быть правильно понято лишь на фоне той литературной борьбы, которая разгорелась в журналистике и публицистике в связи с войной и продолжалась затем много лет после ее окончания. Военные рассказы В. М. Гаршина должны быть поняты как один из существенных эпизодов этого большого общественно-литературного движения.

Не вдаваясь в подробный анализ сложных исторических причин этой войны, укажем только, что истоки ее несомненно коренятся в социально-экономическом положении русской буржуазии в пореформенное время, в истории ее борьбы за экономическую и политическую власть. Экономически эта война выражала стремление русского капитализма на Восток, к завоеванию восточных рынков; политически — она представляла собой попытку правительства компенсировать отечественную буржуазию за неосуществленные конституционные требования; с точки зрения внешней политики события 1876—1878 гг. являлись одним из эпизодов старинной русско-английской борьбы за восточные рынки.

Официальной идеологией „славянской“ войны явилась идея освобождения балканских славян из под власти Турции и объединения их в самостоятельное государство под эгидой России. Формы „освобождения“ славянства оживленно дебатировались на страницах русской печати, и этот вопрос прошел различные ступени развития: выдвигалась идея автономии славянских стран, высказывалась мысль о балканской федерации и даже выдви-

гался проект создания всеславянского государства во главе с Россией. Официальными и крайними идеологами по „восточному“ вопросу явились публицисты из московской группы славянофилов во главе с Ив. Аксаковым.

„Восточный вопрос для России прост и ясен. Это вопрос собственного нашего бытия, наш собственный, Русский, а не Западно-европейский. Ибо христианский Восток — область христианства восточного, во главе которого мы стоим, и иною быть не может. Россия и все славяне Балканского полуострова — это целый особый мир православно-славянский: все оторванные его члены должны быть возвращены этому миру“, — говорил Иван Аксаков в 1876 г.¹

Эта небольшая цитата по существу обобщает содержание славянофильской публицистики той поры.

Обширная литература славянофильского лагеря за все время войны не сказала ничего нового. Новые ноты появились у того же Аксакова лишь после войны, именно — недовольство уступчивостью русской дипломатии на Берлинском конгрессе, но эти новые ноты вытекали из старых положений и потому существенного значения для нас не имеют.

„Русский Вестник“, помещая с 1876 по 1878 г. материал по славянскому вопросу, не прибавил к формуле Аксакова ни одного свежего положения, ни одной новой мысли. Он ограничился, главным образом, помещением очерков, военных обзоров, корреспонденций, стихов, оригинальных и переводных (со славянских, разумеется, языков), объединяя этот материал одной общей установкой на разжигание славянофильского воодушевления.

Вот финал одной сербской драмы, помещенной в „Русском Вестнике“:

Арамбаша. Живио нам и всем христианам!

Все. Ура!

Арамбаша. И ура единому сербскому народу!

Все. Ура! ура!

Арамбаша. И свободе сербов.

Все. Ура! ура! ура!

*Среди криков и выстрелов падает занавес*²

Некоторые очерки и корреспонденции „Русского Вестника“ любопытны отдельными фактическими деталями, и в этом отношении они могли оказать влияние на военную беллетри-

стику той поры, но, повторяем, в идейном отношении „Русский Вестник“, по сравнению с формулой Аксакова, не делает ни шага вперед.³

Будучи по конечным своим целям направленной к защите интересов промышленной буржуазии, славянофильская позиция все же выдавала свой реакционный дворянский характер. Дело в том, что восточный вопрос объявлялся славянофилами внутренней и, по существу, единственной задачей России, и этим самым конституционные стремления русской промышленной буржуазии совершенно отменялись. Объективно, таким образом, славянофильская позиция сводилась к защите экономических интересов промышленной буржуазии при полном игнорировании ее политических запросов. Естественно, поэтому, что буржуазные круги не могли полностью солидаризоваться со славянофильскими публицистами, они должны были выставить свою собственную точку зрения. Их рупором являлся „Вестник Европы“.

За „Вестником Европы“ утвердилась репутация журнала, занимавшего антивоенную и, так сказать, „антиславянскую“ позицию. Это верно лишь отчасти. Действительно, „Вестник Европы“ выступал против добровольческого движения, и в этом расходился со славянофильской публицистикой. Разумеется, он отказывался также признать „славянский“ вопрос вопросом внутренним, считая, что конституционные реформы продолжают стоять на очереди и отнюдь не исчезнут вместе с разрешением восточного вопроса в ту или иную сторону. Более того, „Вестник Европы“ указывал, что славянская интеллигенция по своему образованию тесно связана с Западом, и ей этого не следует ставить в вину. Наше влияние в славянских странах будет тем больше, чем больше мы сами приблизимся к европейскому уровню. „Европейский же уровень“ в терминологии „Вестника Европы“ означал тип буржуазной конституционной монархии.

Итак, „Вестник Европы“ не только не отказался, в виду славянского вопроса, снять свои политические требования, но напротив, он постарался использовать этот вопрос для того, чтобы снова напомнить обществу свои политические идеи.

Вместе с тем, именно „Вестник Европы“ был единственным органом, который обнаружил трезвое понимание истинной

подоплеку „славянского вопроса“: реальные цели „славянского“ движения были более чем приемлемы для журнала. В конце 1876 г. (№ 11) в статье Л. Полонского дана настоящая программа требований по восточному вопросу. Вот вкратце ее содержание: полное освобождение балканских христиан от власти Порты и обеспечение нам свободы выхода из Черного моря; ликвидация европейской Турции; образование федерации балканских государств. „Ключ от Черного моря находился бы не в наших руках, но в руках наших друзей. Это было бы совершенно для нас достаточно“ (стр. 410).

Мы видим, что объявление восточного вопроса не внутренним, а внешним означало для „Вестника Европы“ лишь нежелание снять свои либерально-реформаторские требования, а вовсе не отказ от тех материальных интересов, которые лежали в основе восточного конфликта. Точка зрения „Вестника Европы“, на словах столь враждебная идеям славянофильских кругов, на деле отличалась лишь нежеланием прикрывать истинные цели движения славянофильской фразеологией.

Очищенная от славянофильской фразеологии позиция „Вестника Европы“ становилась лишь более откровенной.

„Вестник Европы“ часто называл себя партией мира, но вот как он формулировал свои „мирные“ тенденции:

„В случае решительного отказа Порты, Австрии и Англии от обеих из уясненных выше комбинаций [федерация балканских государств либо административная автономия], России было бы невозможно не вести войны, хотя бы со всеми этими тремя державами. Всякие жертвы были бы вполне оправданы таким упорством держав, которое было бы явно направлено к нанесению России чувствительнейшего нравственного поражения“.⁴

Естественно, что объявление войны было встречено безусловным и безоговорочным одобрением. Была даже найдена формула примирения „мирной“ фразеологии с воинственными тенденциями: „Теперь, когда «миролюбие исчерпано до конца» [цитата из царского манифеста. Г. Б.], когда мы знаем, что наступило время, — нам несколько не поздно встретить с глубоким и безусловным сочувствием конец томительного ожидания и приветствовать решительный призыв к оружию“.⁵

„Вестник Европы“ не спадает с этого тона за все время войны; даже к концу ее, в 1878 г., очередное „внутреннее

обозрение", посвященное возвращению Александра II в Петербург, выдвигает утверждение о том, что „никогда еще внутри государства не было у нас такого спокойствия и единодушия в общем народном чувстве, как ныне“.

На первый взгляд разговоры о „единодушии“ и о „народном чувстве“ как будто заимствованы из славянофильского арсенала, но далее мы замечаем, что это „народное единодушие“ нужно „Вестнику Европы“ для своих целей.

„Нельзя не согласиться, что именно в настоящий момент Россия представляет такое внутреннее спокойствие и единодушие, которому давно не бывало примеров, а потому теперь ничто не может связывать преобразовательную деятельность, если ей было бы суждено сделать новый шаг вперед“.⁶

Итак, выражая взгляды промышленной буржуазии, „Вестник Европы“, вопреки господствовавшему мнению, отнюдь не выступал против войны, напротив, он поддерживал ее. Отдельные его указания на недостатки ведения кампании всегда были очень сдержаны и осторожны, тон оставался неизменно верноподданническим.

Но все же „ключ от Черного моря“ для „Вестника Европы“ отнюдь не заменял конституции. Стремясь к первому, русские либералы совершенно не хотели отказываться от второй.⁷

На фоне той выдержанной и последовательной позиции, которую занимал „Вестник Европы“, совсем бледным пятном вырисовывается приближавшаяся к либерализму „военная“ публицистика правонароднического лагеря, представленная гайдебуровской „Неделей“. Поддержка войны, славянофильская теория об освободительной миссии России, — все это с легким налетом народнической фразеологии, — такова позиция „Недели“.

„Да, проснулась деревня, встал и откликнулся мужик“, — писала „Неделя“ во время добровольческой кампании.⁸

Тот же стиль „Неделя“ сохранила и во время войны. „Народ в высшей степени интересуется войной и хотя смутно, но чувствует правоту ее“, к такому выводу приходил автор статьи „Деревенская политика“ уже к концу 1877 г. (№ 41).

Настаивая на непременно взятии Константинополя, „Неделя“ так аргументировала это требование: „Дипломатия не имеет руководящего голоса; ее слово получает вес лишь тогда, когда оно является точным выражением народных дум

и желаний. Народ же удовлетворится только тогда, когда почувствует и увидит, что достигнуты те коренные исторические задачи, которые поставлены на очередь временем".⁹

Дешевая словесность этого типа повторялась в „Неделе“ из номера в номер и привела к тому, что „Неделю“ не замечали, с ней не полемизировали, и лишь однажды радикально-народнический журнал „Дело“ упомянул о ней, назвав статьи „Недели“ по восточному вопросу „деревенско-патриотическими излияниями“.¹⁰

Особого внимания заслуживает позиция радикально-народнической журналистики.

Во время подготовки турецкой кампании русские народники впервые столкнулись с проблемой войны. Война должна была застать их врасплох, так как в идеологическом арсенале народничества не было такой теории, которая позволила бы им сразу распознать захватническую сущность „славянского“ движения. Между тем официальная идеология этого движения затронула многие больные струны народнического мировоззрения. Демагогически прокламируемая идея освобождения „угнетенных братьев“ по внешней своей окраске слишком тесно соприкасалась с буржуазно-демократическими взглядами самих народников, для того чтобы они могли остаться равнодушными к ней. Не понимая связи политических событий с интересами тех или иных господствующих классов, народники не сумели увидеть в этой войне проявления колониальной политики русского царизма. В 1876 г. они на короткий срок приняли участие в идеологической подготовке ее и этим оказали немаловажную услугу русскому самодержавию.

Когда сущность добровольческого движения достаточно обнажилась, когда миф о бескорыстном характере войны был рассеян вполне очевидными фактами, тогда народническая журналистика с горечью заговорила о своем „промахе“ и заняла антивоенную позицию.

Два основных народнических органа — „Дело“ и „Отечественные Записки“ в общем составляли единый фронт. Поэтому для характеристики радикально-народнического отношения к войне нам достаточно остановиться на „Отечественных Записках“, тем более, что на страницах этого журнала в 10-м номере 1877 г. появились гаршинские „Четыре дня“.

Появление этого антивоенного рассказа в самый разгар

русско-турецкой войны не было случайностью для „Отечественных Записок“ и знаменовало значительный этап в истории отношения к войне этого влиятельного органа радикального народничества.

В литературе утвердилось мнение, что „Отечественные Записки“ все время поддерживали то шовинистическое и патриотическое возбуждение, которое насаждали правительственные сферы и славянофильская публицистика.

Богучарский в своей книге „Активное народничество 70-х годов“ определенно считает позицию „Отечественных Записок“ сочувственной по отношению к войне и противопоставляет тенденциям этого журнала антивоенное направление зарубежного „Вперед“, редактировавшегося П. Л. Лавровым.

На самом же деле позиция „Отечественных Записок“ по вопросу о добровольческом движении и о войне была далеко не так проста. Действительно, в 1876 г., в разгар так наз. „добровольческого движения“ „Отечественные Записки“ пережили период кратковременного возбуждения. В № 6 этого журнала за 1876 г. была помещена статья „Воевать или не воевать?“, в которой очень горячо поддерживалась идея освободительной войны, идея помощи „страдающим братьям“. Но даже и в этой воинственной статье будущая война не рассматривалась, как нечто необходимое и неизбежное. Напротив, автор считал, что для правильной регулярной войны у нас нехватит военных сил и материальных средств. Мы можем лишь поднять войну отчаянную, народную, поголовную, войну по-герцеговински, которая истощит и без того нищий русский народ, но тут уж никакая Европа с нами справиться не сможет. Однако, и к такой войне автор не призывает безусловно; он предлагает испытать меры нравственного убеждения: обратиться к Европе с программой полного освобождения славян от турецкой власти путем образования самостоятельных славянских государств или же путем учреждения христианского владетельного дома в Турции.

Эта же программа должна объявить позорным для христианских государств оказывать какую бы то ни было поддержку Турции против восставших славян. Тогда „Англия немедленно подожмет хвост“, вся Европа встанет на платформу невмешательства, а „братья славяне“ сами справятся с Турцией, причем русским будет предоставлена свобода сражаться в рядах вос-

ставших славян, и вопрос будет решен одной только нравственной силой. „А если одна сила правды не поможет? Тогда что?“ — спрашивает автор. „О, тогда думать нечего. Тогда зажжем пламя войны во всей Европе, сольемся со всем славянским миром, будем драться по-герцеговински и, подобно Александру I, дадим обет не положить оружия, пока не добудем свободы для всего славянского мира, для славян не только турецких, но и австрийских“ (стр. 376, 2-я нум.).

В этой статье все чрезвычайно характерно для определения позиции „Отечественных Записок“ в период шовинистического возбуждения: с одной стороны, трезвое убеждение в неподготовленности России к войне, понимание того, что война несет чрезвычайные материальные тяготы для народа, а с другой стороны — наивно-утопическая вера в силу „правды и убеждения“ и туманная теория „народности“ русско-турецкой войны.

В следующем, седьмом, номере журнала за этот же год — тот же тон, та же тенденция, та же фразеология. Статья „На всемирную свечку“ горячо призывает жертвовать в пользу восставших славян.

„Всемирная свечка“, которую хочет загасить Европа, это славянская семья, добрая, угнетенная, мягкая, словно восковая свеча, тающая от враждебного европейского дуновения. Пожертвуйте же, русские люди, на всемирную свечу!“ (стр. 106, 2-я нум.).

М. Салтыков-Щедрин, не читавший этой статьи, написанной, очевидно, Д. Мордовцевым,¹¹ по одному заглавию угадал ее истинный смысл и дал ей резко отрицательную оценку.

„Могу себе вообразить, что за статья на тему о «всемирной свече», — писал он Н. К. Михайловскому. — «Отечественные Записки» встали на покатошь очень сомнительную и делаются журналом, в котором чувствуется если не преобладание, то очень значительное присутствие трихин“. ¹² Совершенно очевидно, что, говоря о той покатоши, на которую встали „Отечественные Записки“, он имеет в виду не только статью о „свече“, но и предыдущую. Это чрезвычайно любопытный факт, показывающий, что, даже в этот кратковременный период возбуждения, внутри „Отечественных Записок“ не было единодушной поддержки славянского движения. Тем более это следует сказать о революционной группе народников.

„Я так привык отделять и противопоставлять народ правительству с его чиновничьей и военной организацией, что поражение последнего не считал поражением первого и даже находил, что с поражением правительства народ только выигрывал“, — пишет в своих „Воспоминаниях“ Вл. Дебагорий-Мокриевич.¹³

По существу, указанными двумя статьями и ограничивается „воинственная“ публицистика „Отечественных Записок“. Можно назвать лишь еще одну статью в № 9, под тем же названием: „Воевать или не воевать?“, написанную к моменту окончания сербо-турецкой войны, где проводится та же мысль об обязанности России устроить автономию балканских славян, однако уже далеко не в столь решительных тонах. Но уже с 8-го номера, все усиливаясь, начинают звучать нотки отрезвления. В этом номере Г. Темкин (Н. К. Михайловский) в очередном своем фельетоне „Вперемежку“ сообщает читателям, что он хотел бы писать на „славянскую“ тему, но „написал несколько строк и вычеркнул — слишком уже черство выходит, до нецензурности черство“. Дальше он говорит о „прохвостах“, которые всплыли на поверхности, о „газетных риторках, которые вдруг поголовно обратились в благороднейших жрецов свободы“.

Автора интересует вопрос, что будет с этими „прохвостами“, когда так или иначе разрешится славянский вопрос? „Останутся ли они на поверхности, придавая ей свой цвет и запах, или исчезнут в пучине? Вопрос чрезвычайно черствый и, так сказать, несвоевременный, но, все таки, любопытный. Приходил ли он к вам в голову или нет, и как вы его разрешили, если приходил, этого я не знаю. Я только к тому, что, при всей нашей любви, нам приходят иногда в голову жесткие вопросы, за что на нас и косятся“ (стр. 226, 2-я нум.).

Михайловский сам назвал свои размышления несвоевременными, черствыми и жесткими. Совершенно очевидно, что они резко отличались от господствовавшего отношения к вопросу. Но все же это лишь первый симптом, зато в дальнейшем эти ноты отрезвления звучат все ярче и сильнее. Так, в 10-м номере, за тот же 1876 г., появляется корреспонденция Ел. Лихачевой „Из Сербии“, где мы впервые встречаемся с очень резкой по существу оценкой добровольческого движения. Правда, статья начинается с того, что Сербия держится

русскими, что русские учат сербов умирать, но автор с первых же строк переходит к описанию иных подвигов многих русских, которые приехали в Сербию далеко не с освободительными целями.

„Что творят эти господа — а их много — видно из того, что сербы говорят: мы избавились от одних варваров, а к нам пришли другие“.

Далее оказывается, что дело отнюдь не только в некоторых „господах“, примазавшихся к' добровольческому движению. „Они [сербы и, в частности, офицеры], как и сербское правительство, не хотят более войны и прямо говорят, что, не приезжай русские, у нас давно был бы мир. Народ никогда не хотел войны“ (стр. 182, 2-я нум.). „Вообще говоря, русские гораздо более негодуют на турок, нежели сербы, и равнодушие сербов раздражает их“ (стр. 183).

Здесь, как мы видим, опираются не только добровольцы, но и сама идея добровольческого движения: как можно говорить о „народной войне“ в защиту славян, если сербский народ никогда не хотел войны?

А между тем незадолго до этой статьи Е. Лихачева поместила корреспонденцию в „Новом Времени“ (18 июля 1876 г., № 138), в которой заверяла читателей, что „до сих пор одушевление в народе не уменьшается, именно, одушевление, а не пассивная покорность... Сербы не ропщут, и все известия, сообщаемые о полном неудовольствии, будто бы уж проявившемся в народе, не более, как выдумка“.

„Русским в Сербии приходится также жутко, — сообщает далее Е. Лихачева: — все разбито, даже вера в дело, для которого они шли, остаются только дрязги, нужда, перспектива положить жизнь за то, во что не верят больше, или, что еще хуже, сделаться искалеченными, без всякой возможности вернуться домой“ (стр. 183, 2-я нум.). Этот решительный поворот чрезвычайно характерен не только для „Отечественных Записок“, но и для самого автора статьи.

Пересмотр прежних взглядов, несомненно, налицо, и его нельзя отнести только за счет изменившегося положения в самой Сербии: в июле — констатировалось „воодушевление“ сербского народа, а в октябре сообщалось, что „народ никогда не хотел войны“. Дело, очевидно, не в народе, а в изменении позиции известных общественных кругов в отношении войны.

В том же 10-м номере „Отечественных Записок“ дается и мотивировка этого поворота:

„Страсть к славянам до того охватила всех, что мы, повидимому, забыли, что мы и сами — славяне, живем среди славян, нуждающихся в помощи ничуть не менее славян балканских, и что нам никак не позволительно обижать своих чад в пользу дальних родственников и даже, если угодно, братьев. Я говорю чад, ибо, если мы называем балканских славян нашими братьями, то наших мужичков мы не можем назвать иначе, как нашими чадами. А их-то мы и начинаем обирать в пользу братьев славян“ (стр. 190, 2-я нум.).

Итак, первый довод в пользу нового отношения к вопросу таков: нельзя обирать „чад“ в пользу братьев. Второй довод еще более определен, и он, по существу, имел для „Отечественных Записок“ решающее значение: оказывается, что „братья“ вовсе не нуждались в помощи.

„...почему не сказать и такой правды, что большая часть нашего общества вовсе не имеет никакого понятия о положении славян и очень ошибается, когда думает, что весь наш народ пользуется гораздо большим благосостоянием, чем славяне. В действительности это совсем не так. В самых лучших местностях России никогда русский мужик не живет в таком довольстве как живут сербы“ (стр. 196, 2-я нум.).¹⁴

В своей корреспонденции из Белграда об этом же писал Гл. Ив. Успенский. Сравнивая „старшего“ и „младшего“ братьев, он пришел к выводу, что старший — несравненно менее культурен, зажиточен и свободен, чем „младший“.

„Они [русские добровольцы] были сконфужены прочностью заграничного человека, его достоинством, его умением жить“, — писал Гл. Ив. Успенский.¹⁵

Он же подвел итоги „добровольческому“ движению после окончания сербо-турецкой войны в своем рассказе „Не воскрес“.¹⁶

Герой этого рассказа, участник добровольческого движения, приходит к выводу, что он воевал не ради освобождения славян, не ради Сербии, а ради „свинины“, ради барышей и прибылей сербских капиталистов, которые хотят оружием приобрести себе право „продавать свинью, которая теперь продается только сырая и продается крайне дешево, продавать ее копченою и получать дороже“.

В этом же рассказе Г. И. Успенский идет значительно дальше: его герой, став свидетелем водворения силой мальчика-сербка на „ученье“ к хозяину-слесарю, убеждается, что воевать следует не за „свинину“, а за этого мальчика.

„Мальчик разбил все мое спокойствие, все мое здоровье — все, в одну минуту... Мысль, что теперь нужны *не такие* войны, была мне совершенно ясна“.

Так в рассказе Г. И. Успенского радикально-народническая литература и публицистика подошла уже к правильному пониманию объективного социального значения „добровольческой“ кампании. Период шовинистических, славянофильских настроений, которые ранее явственно слышались и у самого Успенского в его корреспонденциях из Сербии, прошел окончательно.

Рассказ Успенского напечатан за 2 месяца до объявления русско-турецкой войны. Во время войны „Отечественные Записки“ уже не обнаружили более никаких колебаний. Напротив, в это время антивоенная позиция радикально-народнической журналистики еще более крепнет. Любопытно отметить, что самый факт объявления войны 12 апреля 1877 г. „Отечественные Записки“ обошли молчанием. Этот прием всегда был для оппозиционной журналистики демонстрацией невозможности, по цензурным условиям, высказать свой взгляд на какой-либо вопрос. Также поступили „Отечественные Записки“ и в марте 1881 г. В майском номере 1877 г. журналу пришлось уже защищаться от нападок патриотической прессы на это антипатриотическое молчание. Но даже стоя в такой невыгодной позиции, как позиция вынужденной самозащиты, „Отечественные Записки“ все же подчеркнули свою антивоенную точку зрения, возражая Аксакову, уверявшему, что в „настоящую минуту лишь послушанием царю сдерживалось нетерпение народа“.

„Это мы считаем совершенною напраслиною на народ“, писали „Отечественные Записки“. „...все тяжести войны падут преимущественно на него, поэтому он желает, чтобы успех войны был более или менее рассчитан, чтобы ему не пришлось лить кровь и разоряться напрасно без всякой пользы для себя и для своих братьев“ [стр. 110, 2-я нум.].

Резко-непримиримое отношение „Отечественных Записок“ к официальному патриотизму ярко выразилось в двух очерках Н. Щедрина, помещенных в 8 и 9 номерах журнала.¹⁷

Первый очерк „Тряпичкины — очевидцы“ представляет собою злую сатиру на положение печати во время войны. Официальные поставщики военно-патриотических реляций, корреспонденты Подхалимовы, уехав на театр военных действий, но не добравшись до него, ограничиваются описанием воодушевления и восторга населения тех мест, куда они попадали во время своей пьяной одиссеи.

Оценка подлинной роли разжигателей шовинистического возбуждения выражается в следующем откровенном разговоре Подхалимова I с Подхалимовым II.

— „А мы с тобой все таки — свиньи.

— Это почему?

— То есть, не мы одни, а вообще... Сидим в укромном месте, галдим: агу его! ребятушки! не выдавайте! Гнусно любезный друг“.

В другом очерке „На досуге“, посвященном деятельности благотворительных комитетов, Щедрин вновь с большой силой обрушивается на официальный патриотизм. Патриотическим понуканиям здесь противопоставлено отношение к войне мужика, с одной стороны, и честной интеллигенции — с другой.

„Мрет русский мужик, мужик, одевшийся в солдатскую форму, мрет поилец-кормилец русской земли! Не долгоязычничает, сидя на печи, не критикует, не побеждает, а прямо несет свою голову навстречу смерти“.

Эта народная трагедия заполняет и подавляет сознание народолюбивого интеллигента:

„Когда занавес остается бессмысленно поднятым, когда со сцены ни на мгновение не сходит единственное действующее лицо — смерть, можно ли мыслить, можно ли ощущать что-нибудь иное, кроме щемящей боли, пронизывающей все существо, убивающей мысль, сдавливающей в горле вопль, готовый вылететь из груди?“

Итак, в русско-турецкой войне Щедрин, свободный от народнических иллюзий, показал хладнокровное убийство мужика да игру своекорыстных интересов, плохо прикрытую патриотическими фраззами о „народной войне“.

В развернутом и совершенно незавуалированном виде отношение „Отечественных Записок“ к войне выражено в одной анонимной статье, помещенной в том же номере журнала, где напечатан и очерк Щедрина. Статья называется „Письма

о войне“ и приписывается некоему будто-бы иностранцу, выросшему в России.

Автор ставит вопрос:

„Имело ли русское интеллигентное общество право, в виду далеко не блестящего экономического положения своего народа, возлагать на него те великие жертвы, какие возлагают на него теперь, ради дела, для него, во всяком случае, более или менее чуждого, по крайней мере, неразрывно не связанного с его собственным благополучием?“

И отвечает:

„Мне представляется, что такой неотложной, настоящей необходимости не существовало, славянский вопрос мог легко быть отложен на десятка два или даже три лет, пока устроился бы надлежащим и правильным образом сам русский народ“.

Это упоминание о „надлежащем“ устройстве самого русского народа далее конкретизируется следующим образом:

„С своей стороны, европейские государства могли бы в России отыскать не мало таких порядков, которые с их точки зрения не могут быть названы иначе, как угнетением, и были бы также вправе вооруженной рукой требовать их отмены“ (стр. 122, 2-я нум.).

Таким образом, статья „Иностранца“ совершенно по-новому ставит вопрос об „угнетении“. Оказывается, необходима борьба с угнетением своей страны; этот вывод очень ясно читается в приведенных строках. Так, „Отечественные Записки“ пришли к отрицанию не только внешней, но и внутренней политики русского царизма.

Те выводы, которые в свое время сделал Г. И. Успенский, подводя итоги сербо-турецкой войны, теперь в статье „Иностранца“ были сделаны уже по отношению к русско-турецкой войне, которая в то время была в самом разгаре. Неудивительно, что эта статья привлекла к себе всеобщее внимание и стала рассматриваться как программный документ „Отечественных Записок“. ¹⁸

Подобную же эволюцию отношения к войне, только логически менее сформленную, очевидно, проделал и сам Гаршин.

Так, если в сентябре 1876 г. он говорит о добровольческом движении с ничем не омраченным восторгом и негодует на скептическое отношение к добровольческой кампании зару-

бежного „Вперед“, ¹⁹ то в ноябре того же года у него начинает проскальзывать недовольство теми формами, которые приняло это движение: до Гаршина начинают доходить слухи о „подвигах“ русских добровольцев. Любопытно, что первые сведения отрезвляющего характера Гаршин получил от одного из представителей революционной молодежи, именно от Ф. К. Долинина, лично участвовавшего в сербо-турецкой войне.

„Рассказывает много интересного и печального; когда приеду, порасскажу“, — пишет Гаршин 9 ноября 1876 г. ²⁰

Далее недовольство добровольцами еще более усиливается у В. М. Гаршина. В начале 1877 г. он в негодующем тоне сообщает матери о постоянно доходящих до него сведениях относительно безобразного поведения русских добровольцев.

„И всё (т. е. все получаемые сведения. Г. Б.) в этом роде... Господи, кто туда не ехал!“ — восклицает он. ²¹

Окончательное отрезвление, как видно, наступило у Гаршина уже под влиянием непосредственных впечатлений, полученных им на фронте.

Так, в одном письме из Болгарии, говоря о радости, с которой русские войска были встречены в г. Тырново, он делает очень многозначительную приписку: „В деревнях этой радости меньше. Весьма понятные причины этого не могу изложить вам“. ²²

Факты недовольства крестьянской массы „освобождаемого“ народа, конечно, должны были сыграть для Гаршина значительную отрезвляющую роль.

Во время похода Гаршин пережил много таких впечатлений, которыми не смог поделиться со своими корреспондентами, имея в виду военную цензуру.

„...впечатлений множество, но еслибы я вздумал излагать их, то необходимо вдался бы в такие подробности, которые сделали бы доставку этого письма невозможным“, — пишет он А. Я. Герду. ²³

Во всяком случае, письма Гаршина с фронта показывают, что на войне его воодушевляла отнюдь не перспектива победы и даже не идея помощи „братьям-славянам“, хотя отдельные отголоски её и мелькают в его военных письмах. Подлинное удовлетворение он находил лишь в сближении с народной массой. Только в этом он видел субъективную ценность своего участия в походе. ²⁴

Таким образом, общие контуры эволюции гаршинского отношения к войне несомненно равнозначны тому пути, который проделал и весь радикально-народнический лагерь.²⁵ „Четыре дня“ поэтому в равной мере характерны для биографии Гаршина, как и для общественно-литературных позиций того органа, где этот рассказ был опубликован.

Высшей точкой того пути, который проделали „Отечественные Записки“ в развенчании русско-турецкой войны, является тот самый, 10-й, номер этого журнала, в котором появились „Четыре дня“. Рассказ Гаршина входит органической составной частью в этот, как бы итоговый, номер „Отечественных Записок“.

Герой рассказа — студент-медик („Мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы“). Образ „медицинского студента“ еще со времени Базарова и героев Чернышевского утвердился в русской литературе как носитель идей передовых революционно-демократических кругов.

Эта функция сохранилась за ним и во времена Гаршина. Так, уже в 1880 г. реакционный беллетрист С. Окрейц также сделал медицинского студента героем своего романа „На войне и дома“²⁶ и также послал его на войну. Но Окрейц сознательно построил образ своего героя заостренно-полюемически, как прямую противоположность тому типу студента-медика, который был создан революционно-демократической беллетристикой.

„Студент я был самый ординарный и, если хотите, даже немного регрессивный, а не прогрессивный: по убеждениям — неискренний реалист, по обычаям и привычкам — рутинер; мылся каждый день, одевался прилично (на сколько хватало) и, если допускал, что орангутанг мог быть моим отдаленным пращуром, то никоим образом не выдавал это за истину, не требующую доказательств. Главным же моим проступком против современного материализма была моя любовь, любовь вполне и со всех точек зрения романическая.

„Я ревновал. Читатели видят: ревную, я ужасно погрешал против кодекса современного реализма“.

Так строился у Окрейца образ студента-медика — от обратного, против демократической традиции. Очевидно, в обычном понимании „медицинский студент“ как литературный герой мыслился прогрессистом и материалистом.

Таким образом, одним, на первый взгляд незначительным, штрихом Гаршин придавал очень широкое и обязывающее толкование мыслям и настроению своего героя.

Как же он, этот студент, попал на войну?

„Когда я затеял идти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мной. *Ослепленный идеею*, я не видел этих слез. *Я не понимал (теперь я понял)*, что делал с близкими мне существами. Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь“.

Былое увлечение расценивается здесь как ошибка, как ослепление идеей, на смену чему пришло отрезвление („теперь я понял“).

Эти скупые слова намечают примерно ту же эволюцию, которую проделало радикальное народничество, что мы видели на примере „Отечественных Записок“.

Слова об „ослеплении идеей“ должны были много говорить читателю, знакомому с трактовкой военной проблемы в народнической журналистике: они должны были говорить и о зажиточности турецких славян (факт, сыгравший немалую роль в процессе отрезвления), и о безобразиях русских добровольцев в Сербии, и о несочувствии самих балканских славян „освободительной“ войне, и об обирании нищего русского мужика в пользу зажиточных „братьев“ и о многом другом, с чем мы уже встречались на страницах „Отечественных Записок“ и о чем не один читатель мог бы сказать вместе с героем Гаршина: „теперь я понял“. Является ли эта война, на которую пошел добровольцем герой Гаршина, народной войной? Этот вопрос также нашел отражение в рассказе Гаршина. „Я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили“. „Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли — только бы позволили“.

О „народности“ войны, стало быть, нет и речи.

Так же решает вопрос автор „внутреннего обозрения“ в том номере журнала, где был помещен рассказ Гаршина.

„Наша пресса жет, когда пишет, что крестьяне везде воодушевлены, вместе с нею, самым горячим стремлением взять Константинополь и проливы и окончательно освободить своих братьев славян от рабства“.

„Народ не имеет ни малейшего понятия о поводах к войне, ни о целях ее: он только чувствует, что война есть — по тем наборам и сборам натурою и деньгами, которые с него делаются“ (стр. 318).

Ту же мысль проводит в этот номере „Отечественных Записок“ и Гл. Успенский в очерке „Люди и нравы“.

„Драться с турком“ — это он [крестьянин] знает, но зачем, из-за чего и где все это делается — ему неизвестно. Я бы сказал большую неправду, если бы стал утверждать, что в этом „не рассуждении“ народа скрывается, положим, в данном случае, охота итти в бой и детски-чистое желание постоять за правое дело. Нет этого ничего. Никто не знает, зачем, в чем дело, но всякий беспрекословно идет, потому что привык итти, когда ему скажут „иди“, привык платить, когда скажут „плати“, и совершенно отвык от разговоров на тему — куда, зачем и почему...“ (стр. 269).

Гаршин еще более углубляет эту проблему „народ и война“ социальным портретом того турецкого солдата, невольным убийцей которого стал гаршинский герой. Это — феллах, т. е. тот же мужик, которого также силой погнали на войну.

„Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели итти, он и пошел“. Убитый феллах не враг для Гаршина, он равно близок ему как и русский мужик; подобно его русскому собрату, этого феллаха так же насильно заставили сражаться за чуждое ему дело. Здесь звучат уже интернационалистические нотки, в чем Гаршин опять-таки перекликается с народнической публицистикой.

„Народ [сербский], сидя в своей «куче», конечно, не наслаждался особенными благами жизни; но ведь и турецкий мужик тоже ими не наслаждался“, — писал журнал „Дело“ в том же году.²⁷

Итак, „Четыре дня“ выступают перед нами как публицистически-насыщенное произведение, отражавшее настроения широких демократических кругов. В этом небольшом рассказе Гаршин сумел поставить почти все основные вопросы, которые во время войны волновали печать и общественное мнение.

Не дав ничего принципиально-нового по сравнению с тем, что было высказано о войне сотрудниками „Отечественных

Записок“, Гаршин в своем маленьком рассказе объединил в одно художественное целое основные мысли и характерные настроения, которые в связи с войной были выражены на страницах радикальных журналов. Именно в этом была глубокая злободневность „Четырех дней“.

Кроме этой внутренней проблемной злободневности, в рассказе есть мелкие черточки злободневности внешней, бытовой.

„Но видя, что мы страшные люди, не боявшиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас“. Речь идет о турецком солдате. Упоминание об английских винтовках в турецкой армии имело двойное значение: во-первых, оно напоминало о том, что Англия снабжает оружием турецкие войска; во-вторых, это намекало на очень жгучие для того времени известия, появившиеся в газетах и в либеральных журналах о низком качестве наших винтовок сравнительно с турецкими. В этих сообщениях проглядывал более общий вопрос о нашей неподготовленности к войне, и реакционная печать резко обрушивалась на подобные сообщения за их антипатриотичность. Таким образом это упоминание о винтовках очень много говорило читателю.

Подобный же характер внешней злободневности носит и коротенькая фраза о „знакомом лице знаменитого петербургского профессора“, наклонившемся над ранеными ногами героя рассказа: отъезд в действующую армию знаменитых профессоров Боткина и Склифасовского также наделал много шума в начале войны.

Но, разумеется, не в одной злободневности была сила рассказа. Его общественное значение заключалось в другом.

В „Четырех днях“ все излюбленные радикально-народнические мысли о войне были высказаны непосредственным участником событий: до „Четырех дней“ радикально-народническая литература ограничивалась лишь рассуждениями о войне, у Гаршина впервые дано прямое ее изображение. Голос интеллигентного рядового, некогда воодушевленного идеей „освободительной“ войны, зазвучал теперь в унисон с мнениями признанных руководителей демократической мысли, подтверждая таким образом, правильность их позиции.

Животрепещущие вопросы войны даны в „Четырех днях“ очень лапидарно, без публицистического нажима, несколькими

скупыми фразами, которые мотивированы, как воспоминания и размышления забытого на поле сражения раненого; тем более непосредственный характер носили эти размышления, тем сильнее, естественно, был их эффект. В этой непосредственности гаршинского протеста и заключалась его особенная сила. Уступая, например, Г. И. Успенскому в остроте проникновения в социальную сущность войны, Гаршин своим рассказом вошел в радикально-демократическую литературу в качестве достоверного и честного свидетеля военных событий, чьи бесхитростные показания оправдывали оценки и взгляды его старших собратьев. В этом заключался секрет той исключительной популярности, которую сразу же приобрел этот рассказ и его автор.

Для дальнейшего развития творчества Гаршина „Четыре дня“ сыграли чрезвычайно важную роль.

В этом рассказе Гаршин конспективно наметил основные темы своей дальнейшей работы над батальными сюжетами. Его последующие военные рассказы являются как бы развитием отдельных эпизодов „Четырех дней“.

Так, мысли раненого о том, что толкнуло его принять участие в войне, нашли дальнейшее развитие в „Трусе“; мотив оставшейся на родине невесты, едва намеченный в этом рассказе („Я увижу родину, мать, Машу...“ „Прощай, мать, прощай моя невеста, моя любовь“), развернулся в „Очень коротенький роман“. Описание тяжестей военного похода („Мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верст“) подробно развернуто в „Воспоминаниях рядового Иванова“.

Особого внимания заслуживает эпизод спасения раненого героя „Четырех дней“.

„Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

„... — Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! (В первоначальном тексте — Борис Иванов. Г. Б.). Ребята! Вали сюда, наш барин жив...“

Здесь также намеком, в духе всего рассказа, обозначена чрезвычайно близкая Гаршину тема — тема интимного, дружеского общения народника-интеллигента с мужиком-солдатом во время войны. Радостный выкрик ефрейтора с добрыми голубыми глазами является как бы случайным обрывком не-

рассказанной здесь повести о том, как интеллигентный рядовой Иванов завоевал уважение и любовь простых солдат, как он стал для них „наш барин“.

Эта тема также нашла дальнейшее развитие в „Воспоминаниях рядового Иванова“.

Кроме того, в „Четырех днях“ уже наметилась та схема народнического рассказа о войне, которая нашла дальнейшее развитие в „Трусе“ и „Воспоминаниях рядового Иванова“. Герой рассказа — мыслящий интеллигент, студент, из идейных побуждений поступает в армию рядовым, общается с народом, и его наблюдения и размышления о войне и в связи с войной становятся основным стержнем рассказа.

Эта схема является оригинальной особенностью Гаршина и не находит точных параллелей в появившихся вслед за дебютом Гаршина многочисленных произведениях о русско-турецкой войне. Центральным образом этих произведений является образ офицера. Ясно, что гаршинский интеллигент — рядовой, живущий одной жизнью с солдатом и вместе с ним несущий все тяготы войны, был значительно более подходящим героем народнического рассказа.

Естественным продолжением „Четырех дней“ является рассказ „Трус“ (1879 г.).

Основным содержанием „Четырех дней“ был самый процесс отрезвления. В „Трусе“ Гаршин идет дальше: он ставит вопрос о том, какова же должна быть линия поведения перед лицом войны честного интеллигента народнической складки, не только не ослепленного идеей войны, но питающего к ней глубокое отвращение. Каковы должны быть практические результаты антивоенной позиции — вот основной вопрос „Труса“.

Нужно сказать, что радикально-народническая военная публицистика именно этот вопрос и обошла, что придавало ее отрицанию войны несколько декларативный характер. Гаршин в „Трусе“ делает попытку конкретизации народнического протеста против войны. Мотив „ослепления идеей“ здесь поэтому совершенно отсутствует.

Герой „Труса“ с самого начала не только не восхищен войной, он возмущен ею („Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны“). Впрочем, Гаршин обезопасил себя от самой необходимости показывать

какое бы то ни было „ослепление“ идеей этой войны, отнеся события своего рассказа к середине войны, к периоду третьей Плевны, т. е. к наиболее тяжелому времени поражения русских войск, когда всеобщего возбуждения уже не было. Следовательно, при решении вопроса об участии героя в войне Гаршину незачем было вводить специфические особенности восприятия данной войны, как войны будто бы „освободительной“. Этим самым трактовка вопроса об участии в этой именно войне принимала более абстрактный характер — проблемы об участии в любой войне.

„Если не протянется долго эта война, все равно, начнется другая“, — говорит герой Гаршина. Правда, эта уверенность его отражала всеобщее убеждение, что русско-турецкая война превратится в войну с Англией, но это дела не меняет — вопрос об особенностях данной войны тем не менее снимался.

Те возмущения против войны, которые герой рассказа высказывал Львову, не носили характера теоретических аргументов. Принципиального отрицания войны у него нет.

„Может быть, это [т. е. война] необходимо — я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущаемым массою пролитой крови“.

Не теоретическая система, а непосредственное чувство отвращения, которое он сам сравнивает с чувством быка на бойне.

Разумеется, и принципиального отрицания нравственной возможности уклониться от участия в войне у него также нет и быть не может. Если мы вчитаемся в диалоги его с Марьей Петровной на эту тему, то заметим, что, говоря об уклонении от войны, они разумеют нечто иное.

„— Вот вы, кажется, все думаете, как бы постараться остаться здесь, — продолжала она: если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.“

„— Что же делать, Марья Петровна: разные взгляды. За что я буду отвечать? Разве я войну начал?“

„— Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь

в Петербурге — живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну“ (курсив наш. Г. Б.).

Война здесь — синоним всеобщего бедствия, ужасных физических страданий, которым обречены огромные народные массы в результате навязанной им антинародной войны. Образ больного Кузьмы, страдания которого обрисованы сугубо натуралистически, взят Гаршиным как единица, которую нужно помножить то на 50, то на 100, или на 12 тысяч, соответственно числу убитых и изувеченных на войне, чтобы получить представление о размерах постигшего народ бедствия.

Чтобы самому лично не участвовать в этом бедствии, в котором он неповинен, герою „Труса“ нужно использовать свое привилегированное по сравнению с народом положение („Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете“). В этом вся проблема. Не об уклонении от войны идет речь, а об использовании тех возможностей, которых лишена народная масса — вот что оказывается нравственно недопустимым и для рассказчика и для Марьи Петровны.

Итак, гаршинский герой не думает о борьбе с войной, о противодействии ей. Сочувствие к страданиям народных масс влечет его не к борьбе с причинами, порождающими их, а к стремлению разделить общую участь, уравнивать себя в правах с народом, отказаться от каких бы то ни было привилегий, свойственных господствующим сословиям.

В „Трусе“ Гаршин разработал вопрос о войне в духе той программы, которую двумя годами ранее наметил для народнической литературы Н. К. Михайловский.

„Личное благополучие, как принцип, — писал он в своих очерках «Вперемежку», — есть штука, конечно, очень, как бы сказать... мещанская, что ли. Стремление к личной чистоте и соответственное покаяние — штука старая и давшая искусству, кажется, уже все, что с нее взять можно. Но чувство личной ответственности за свое общественное положение — есть тема новая и почти нетронутая“.²⁸

К этой теме, собственно, и пришел Гаршин в „Трусе“, разработав ее на материале войны. Именно поэтому Гаршину не понадобилось развернутое изображение войны. Его задача была решена уже с отъездом героя на фронт. Гибель „Труса“ в первом же сражении ясно говорила

читателю, что это не герой войны, а герой идеи, который довел до логического конца чувство личной ответственности за свое общественное положение.

Идейный замысел „Труса“ чрезвычайно типичен для народнического мировоззрения. Будучи противником войны, герой этого рассказа, исходя из самых честных побуждений, приходит к косвенной поддержке ее. Отношение к войне, как к стихийному бедствию, непонимание ее истинных социально-экономических пружин сводит гаршинское отрицание войны к бездейственному протесту. Это не исключает объективной прогрессивности антивоенной позиции Гаршина для тех лет, когда недавно минувшая война возвеличивалась и окружалась ореолом героизма; самая постановка вопроса об антинародном характере этой войны несомненно являлась большой заслугой писателя. Но все же, связав тему войны с общими вопросами народнического мировоззрения, Гаршин наглядно показал беспомощность народнической идеологии, ее неспособность к разрешению сложных вопросов общественно-политической жизни.

„Трус“, конечно, не имел того злободневного характера, как „Четыре дня“. Здесь Гаршин в разработке военной темы отошел от вопросов минуты к более широким проблемам общего мировоззрения. Это было вполне естественно для 1879 г., когда война уже окончилась, общие итоги ее были подведены, и общая оценка ее достаточно определилась.

Нечто подобное настроениям героя „Труса“ переживал и сам Гаршин перед уходом на фронт, разумеется, не в столь оформившемся и сложившемся виде.

„...я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули“, — писал он матери перед самым отъездом в армию.²⁹ В этой фразе — зародыш „Труса“.

Правда, говоря о сверстниках, Гаршин скорее всего имеет в виду своих интеллигентных товарищей, а не народную массу, но принципиальное нежелание воспользоваться своим привилегированным положением, настойчивое стремление разделить общую участь — отразилось уже в этом письме. В „Трусе“ Гаршин углубил свою первоначальную формулу и осмыслил ее в последовательно-народническом духе. Теперь основные проблемы войны были несомненно ясны для Гар-

шина, и дальнейшая разработка военной темы должна была, как видно, привести писателя к созданию более широких обобщающих картин. Действительно, в 1880 г. появляется рассказ, вошедший в собрание сочинений под названием „Денщик и офицер“; этот рассказ по замыслу Гаршина должен был представлять начало большой работы на тему „Люди и война“. В журнале „Русское Богатство“, где он и появился под этим названием, значится: „продолжение следует“. Но продолжения не было.

Рассказ посвящен, собственно, изображению не войны, а военщины, военного быта. Этот поворот очень характерен, он свидетельствует о стремлении Гаршина развивать тему войны не только вглубь, но и вширь. Хотя сюжет этого рассказа относится к предвоенному периоду, но, судя по названию, Гаршин должен был подойти впоследствии к изображению войны, и тот отрывок, который мы имеем, свидетельствует о намерении Гаршина подойти к вопросу издали и начать большую обобщающую работу жанровой картиной военного быта. Этот рассказ позволяет говорить уже о расширении материала наблюдений Гаршина. По сравнению с „Четырьмя днями“ и „Трусом“ здесь мы видим не только изменение темы, но и других героев, и, к тому же, двух. В то время, как в „Четырех днях“ и в „Трусе“ мы имели дело лишь с одним центральным образом, именно, с образом мыслящего интеллигента-студента, здесь перед нами — с одной стороны, профессиональный военный, прапорщик, окончивший курс юнкерского училища, а с другой стороны, — только-что сданный в солдаты крестьянский парень — Никита.

Все это образует уже иной тип рассказа. Прежде автор мог не отделять себя от своего героя, больше того, герой фактически заменял автора, его размышления и настроения составляли идейный стержень произведения, и рассказ принимал как бы монологический характер. Теперь ни один из героев не является представителем автора, и идейный стержень произведения передвигается с самохарактеристики центрального лица на авторскую характеристику образа, так сказать, со стороны и на бытовую обстановку, в которой живут и действуют герои.

Это дает Гаршину возможность поставить совершенно новую проблему — проблему солдатчины.

Отчасти она уже намечена в „Трусе“. Солдаты — земляки, с которыми встретился „Трус“, надевши серую шинель, думают и говорят о прошлом, о покинутом ради войны хозяйстве.

„Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов, и вскоре после которой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе «сто чортив ему конних у горло», о том, что мало становится земли и потому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек итти на Амур...“

Но не в этом назначение солдатской сцены в „Трусе“. Разговор с солдатами здесь нужен был Гаршину, чтобы показать, что „никто не интересовался узнать о турках, о болгарях, о деле, за которое шел умирать“, т. е. для опровержения легенды о „народном“ характере войны, что было уже ранее сделано в „Четырех днях“.

В рассказе „Денщик и офицер“ проблема солдатчины является уже основной. Рассказ и начинается со сцены в воинском присутствии, где автор знакомит читателя с Никитой. Новый герой Гаршина это „низенький человек с несоразмерно большим животом, унаследованным от десятков поколений предков, не евших чистого хлеба, с длинными вялыми руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями“.

Итак, новый герой Гаршина — это прежде всего человек труда, больше того, человек, искалеченный трудом, но и сросшийся с ним.

„Он понял только, что его признали годным к службе и что через две недели его погонят из дома на несколько лет. Только одно это и было у него в голове, только одна эта мысль и пробивалась сквозь туман и оцепенение, в котором он находился“.

Чтобы подчеркнуть всю жестокость и бесчеловечность „закона“, отрывающего человека от земли, Гаршин делает своего Никиту единственным работником в семье. Но единственных сыновей в армию не брали, и Гаршин делает Никиту не родным, а приемным сыном старика-крестьянина. Это, разумеется, далеко не типичный случай, но выбор его Гаршиным все же очень интересен: он обнажает и подчеркивает стремление автора представить солдатчину в худшем ее варианте. Если мы вспомним, что Никита оставляет дома малолетнего сына и беременную жену, то станет совершенно



В. М. Гаршин.
С фотографии конца 1877 г.

ясно, что Гаршин постарался вложить в эпизод сдачи Никиты максимальную силу мужицкого протеста.

Последующие эпизоды солдатской службы Никиты, к которой он оказывается совершенно непригодным, и особенно эпизод обучения его бессмысленной „словесности“, развивают дальше ту же мысль о грубом насилии, которое учиняет „закон“ над человеком труда. Автор доводит свою мысль до конца в символической финальной картине сна Никиты, в котором ему является его будущее:

„Снится ему, что лежит он в своей избе один; около него нет ни жены, ни отца, никого из семьи. Он не знает, как он попал домой, но боится, не убежал ли он из полка“.

„...вся изба наполняется людьми; всё деревенские знакомые, но лица у них какие то чудные. «Здравствуй, Никита, — говорят ему: твоих, брат, никого нету, всех бог прибрал. Все померли...“

Здесь заключен вывод, к которому пришел автор: солдатчина не эпизод в жизни Никиты, хотя бы и очень тяжелый, она — гибель для мужика.

Другой облик военщины — это образ офицера — прапорщика Александра Михайловича Стебелькова. С первых же строк, которыми автор знакомит нас со своим героем, он показывает и свое отношение к нему.

„Александр Михайлович Стебельков, новый хозяин Никиты, был очень добрый молодой человек, среднего роста, с бритым подбородком и великолепно вытянутыми, как острые палочки, усами, которых он иногда не без удовольствия слегка касался левою рукою. Он только-что кончил курс юнкерского училища, не выказав в течение пребывания в нем особенного пристрастия к наукам, но зато в совершенстве познав строевую службу“.

Этот образ очень далек от прежних героев военных рассказов Гаршина, и в этом первоначальном наброске уже явственно проступают черты ограниченности и пошлости. Развитие образа сводится к дальнейшему наслаиванию новых и новых черточек этого же типа.

Бестолковое безделье офицерской жизни Стебелькова тянется до самой старости.

Подобное отношение к офицерству сложилось у Гаршина еще во время его военной службы.

„Офицерство (не отдельные офицеры, а офицерство) — чорт знает что такое. Мордобитие до сих пор процветает. Даже наш бригадный генерал бьет солдат в лицо и ругается скверными словами. Вообще, уважения к себе в солдатах эта публика не внушает никакого“, ³⁰ — пишет он в одном из писем с фронта.

Особенно возмущает Гаршина безделье офицерской жизни во время военного затишья.

„От сиденья на месте и ничегонеделанья офицеры дуются в карты, пьют, — сообщает он в другом письме. Конечно, не все практикуют и то и другое занятие, но каждый непременно избрал себе одно из них. Генералитет наш доходился до того, что вчера плясал канкан под звуки полкового оркестра. Представьте кадрили: три полковника и генерал. Все лысые... А кругом целая куча „нижних чинов“ любитесь поучительным зрелищем. У меня все нутро перевернуло“. ³¹

Прообразом Стебелькова был знакомый Гаршина поручик Сахаров II.

Вот его характеристика: „Сахаров II — большой кисляй, годный разве на затычку в каком-нибудь департаменте. Впрочем, добрая душа, но глуп до чрезвычайности“. ³²

В своем отношении к офицерству Гаршин отразил настроенная солдатской массы, от лица которой он как бы дает приведенные выше отзывы. Эти солдатские настроения, впитанные им на фронте, и легли в основу „Денщика и офицера“, а также некоторых сцен из „Рядового Иванова“.

„Денщик и офицер“ — это новая ступень в работе Гаршина над военной темой. Не выходя за пределы народнической идеологии, Гаршин в этом рассказе все же углубил свое отрицание войны, распространив его не только на самый факт войны, но и на „святая святых“ самодержавной России, на царскую армию. Он показал, как солдатчина убивает мужика не только во время войны, но и в мирной обстановке.

В „Четырех днях“ и „Трусе“ Гаршин подошел к войне со стороны „больной совести“ интеллигента-народника. В „Денщике и офицере“ он разработал военную тему как проблему солдатчины, как вопрос о нарушении коренных интересов мужика. Таким образом, „Денщик и офицер“ несомненно свидетельствует о росте социально-политического радикализма в работе Гаршина над военной тематикой в конце 70-х гг.

*

С момента окончания войны начинает разворачиваться беллетристическое ее отображение. Теперь рассказы Гаршина естественно попадают уже в собственно-литературное окружение и становятся составной частью беллетристики на тему о русско-турецкой войне.

Эта война не только нашла отражение в литературе 70-х гг., но даже ввела в литературу несколько новых беллетристов, дебютировавших, подобно Гаршину, рассказами на военные темы. По общему признанию, первое место среди них несомненно принадлежит Ив. Щеглову (Леонтьеву), военные рассказы которого сразу обратили на себя внимание критики.

Не только военная тема роднит его с Гаршиным, в самой разработке ее мы тоже найдем некоторые точки соприкосновения: герои основных его рассказов („Первое сражение“ — 1881 г. „Поручик Поспелов“ — 1881 г. и „Неудачный герой“ — 1881 г.³³) — это новички, не привыкшие еще к военной обстановке и вступающие в военную среду в годы русско-турецкой войны; это все в той или иной степени люди интеллигентные, мыслящие, и поэтому показ этих людей неизбежно связан с изображением их отношения к войне и побудительных причин, толкнувших их на войну. Тем интереснее сопоставить эти произведения с интересующими нас рассказами Гаршина.

Герои Щеглова — это офицеры, пошедшие на войну добровольно, по личному желанию: и прапорщик Алешин из „Первого сражения“ и подпоручик Кунаев из „Неудачного героя“ пошли на фронт, имея полную возможность оставаться дома, подобно героям „Четырех дней“ и „Труса“. Но для этих последних уход на войну был решением какой-то сложной идейной проблемы. В одном случае это был результат „ослепления идеей“, идеей „освободительного“ движения, очевидно, ложной с точки зрения самого героя и его автора; в другом случае это было осмысленным решением проблемы долга перед народом, решения, очевидно, правильного с точки зрения автора.

Не то у Щеглова: его герои попали на войну, хотя и добровольно, по личному желанию, но отнюдь не в результате каких-либо серьезных идейных стимулов.

Прапорщик Алешин из „Первого сражения“, 19-летний мальчик, „птенчик“, как называют его старшие товарищи по

службе, даже сам стесняется наивности своих побуждений. Добродушный толстяк майор Бубнов, с которым случайно встретился Алешин, сразу разгадал его.

„Майор не выдержал и спросил его в упор: зачем он вышел в действующую армию, когда мог ожидать своей линии в Петербурге?

— Мне очень хотелось видеть войну, — наивно признался Алешин“.

Еще до этого разговора майор имел случай спросить Алешина, „отчего он вышел на Кавказ, а не в Дунайский отряд?“ „Кавказ — ведь это уже известно, — пробормотал Алешин, которому теперь только пришло в голову — отчего, в самом деле, он вышел именно на Кавказ“.

Формальное соприкосновение образа Алешина с героями Гаршина заключается в том, что Алешин также разочаровывается в войне. Но у Щеглова, как и у Гаршина, война рассматривается глазами героя, поскольку же герой Щеглова не является человеком идеи, его разочарование (если относительно настроений прапорщика Алешина можно употребить это слово) не могло иметь для читателя столь обязательного значения, как размышления героев Гаршина.

„Господи, когда же все это кончится?“ — думал Алешин после своего первого сражения, но этот возглас также не мог носить того характера общественного суда над войной, как разочарование студента из „Четырех дней“.

Самый портрет героя „Первого сражения“ показывает, что он, этот герой, не может быть выразителем серьезных общественных настроений.

„Свежесть первой юности и нежная робость движений не могли не привлекать каждого, кто видел Алешина. В нем было все симпатично: и простодушный, несколько птичий склад его худенького личика, и прядь белокурых волос, закрывавшая капризным завитком всю правую часть его белого лба, и слабый намек на будущие усики под небольшим тонким носиком; ворот простой шелковой рубашки, высунувшийся из под одеяла, придавали ему совсем вид мальчика, а его искренний, звонкий голос и выражение наивности в серых глазах сообщали каждому его слову какую-то особенную милую детскость“.

Итак, Алешин воплощение молодости, чистоты, наивности, нетронутой размышлением.³⁴ В противоположность Щеглову,

Гаршин характеризует своего героя прежде всего как человека мысли. Герой Гаршина — „смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду понимает в чем зло и тем самым избегает этого зла“, а затем, в результате серьезной и мучительной работы мысли, ставший „худошавым солдатом с черной бородкой“ — это был, разумеется, значительно более подходящий образ для воплощения протеста против войны: его суждения и оценки неизбежно приобретали программный характер.

В „Неудачном герое“ Щеглов дает иную мотивировку участия в войне центрального действующего лица рассказа — подпоручика Кунаева. Здесь нет наивности „птенчика“ Алешина, но нет и той связи с общими вопросами мировоззрения, как у героев Гаршина.

„Так как я считал всегда свой мундир эмблемой войны, а не парадов и попоек, то записался одним из первых“, — сообщает о себе Кунаев. Это — один мотив, мотив военной чести, достаточно чуждый Гаршину.

Вот второй мотив — уже более серьезный.

„Колюша Кунаев, баловень мамыши, любящий книги и уединение и занимающий такое покойное место при генерале ***, бросает вдруг родных, столицу и выгодную должность и едет добровольцем в кавказскую армию? Чего доброго, не поверят. Они не знают, как мне опротивело это мирное прозябание, как я порывался в прошлом году в Сербию и с каким восторгом вырвался, наконец, из омута военно-канцелярской службы навстречу тревогам и опасностям“.

Этот второй мотив несомненно значительно интереснее, чем те, с которыми мы встречались до сих пор. Здесь автор нащупал безусловно типичное явление, отмеченное в свое время журналистикой.

П. Боборыкин в статье „На славянском распутьи“ так характеризует это явление:

„Взрыв симпатий русского общества к сербам в 1876 г. был симптом не прямой, а косвенный, он доказывал, главным образом, необходимость во что-нибудь удариться, как-нибудь стряхнуть с себя тяжесть пустоты, бессодержательности обще-

ственной жизни, найти какой-нибудь исход из рутины и обмельчания идеалов, а, главное, из разных загоронок, сковывающих гражданское чувство и всякий общественный почин".³⁵

Об этом же еще раньше писал и зарубежный журнал „Вперед“, издававшийся под редакцией П. Лаврова.

Устанавливая несколько категорий русских, отправляющихся драться за славянское дело, анонимный автор статьи „Русский народ перед южно-славянским вопросом“ отмечал тех, „которые рвутся туда из грязи и пустоты нынешнего русского быта, чтобы дохнуть хоть раз исторической жизнью, потому что не видят для себя другого человеческого исхода“.³⁶

Таким образом, подпоручик Кунаев мог бы быть достойным партнером гаршинских героев, если бы Щеглов, подобно Гаршину, осмыслил образ своего героя в связи с комплексом вопросов, выдвинутых войной. И действительно, некоторые попытки в этом отношении сделаны. Подобно героям Гаршина, Кунаев начинает сближаться с солдатами и с удивлением узнает, что мужик вовсе не хотел войны. „Для меня, обученного определять отношения к солдату словами: „смир-на-а“ и „стой, равняйся“ — все это равнялось открытию Америки“, — говорит он.

Очевидно все же, что подпоручик Кунаев далеко не однозначен, скажем, с гаршинским „трусом“: то, что для первого явилось Америкой, для второго было исходной точкой рассуждений. Дело однако не в этом. Стоя на своей позиции, Щеглов все же мог бы привести своего героя к тому кругу идей, которые характерны для героев Гаршина. Но именно этого он и не сделал. Трагедия Кунаева заключается в том, что ему не удалось стать героем войны, не удалось получить даже ранения. Он погибает глупой смертью. Не успев принять участия в сражении, он заболевает тяжелой формой лихорадки, которой хворают почти поголовно все солдаты и офицеры, лишенные лекарств и элементарной лечебной помощи, в то время как другие офицеры казнокрадствуют, дебоширят и пьянствуют на солдатские деньги. Как мы видим, рассказ в высокой степени проблемно заострен, но совсем с другой стороны. У Щеглова трагедия войны не в том, что русский мужик подневольно пошел убивать турецкого мужика, а народник-интеллигент, ослепленный идеей, пошел делать это сознательно — как в „Четырех днях“, и не в том, что этот же интеллигент

нравственно обязан разделить судьбу мужика, даже и не будучи ослеплен идеей, как в „Трусе“. Тут трагедия героя основана на плохой организации войны, на скверной постановке руководства армией, на российской расхлябанности, сказавшейся и на войне. Это, конечно, проблема, но такого типа, которую Гаршин никогда не сделал бы организующим центром своего рассказа. У Щеглова мы видим либеральное, по существу, обличительство, на которое отваживался даже „Вестник Европы“, даже во время войны.

„Недостатки сказались более всего именно в том, что относилось к приготовлениям, к порядку, к связи между различными частями одного дела, короче, к системе устройства. Стойкость солдат и искусство генералов налицо, но и некоторые пробелы в порядках. А это есть только отражение всего общего положения: нами и дома у себя произведено много работы для улучшения по всем частям, но еще не достаёт связи, недостаёт и людей, соединённых общей идеей, недостаёт и выдержки в начинаниях, вследствие недостатка цельности в предпринятом“.³⁷

Эти слова „Вестника Европы“ Щеглов мог бы взять эпиграфом к своему рассказу. Любопытно, что либеральная критика именно с этой стороны и оценила его.

„Еще сильнее, чем смерть Литвинова и Бубнова («Первое сражение»), поражает нас участь Пospelова или Кунаева («Неудачный герой»). Встречая смерть не в открытом бою, а в гнилой госпитальной палате или в «холодном и грязном номере гостиницы», они могли бы воскликнуть, как Чулкатурин в «Дневнике лишнего человека»: «но умереть глухо, глупо...» Единственными неприятелями, с которыми им пришлось бороться, были наши доморожденные враги — нераспорядительность, бесцеремонность, халатность, усложняемые, от времени до времени, грубым или утонченным казнокрадством“, — писал К. Арсеньев в том же „Вестнике Европы“.³⁸

Итак, гаршинские рассказы отличаются от соприкасающихся с ними произведений И. Щеглова не только глубиной поставленных вопросов, но и социальным качеством их.

Рассказы Гаршина были проникнуты горячим сочувствием, к обездоленному антинародной войной трудовому люду, в то время как рассказы И. Щеглова не возвышались над уровнем буржуазно-либеральной критики войны.

Иное социальное качество, чем у Гаршина, приобретает у Щеглова и изображение быта военных в мирное время, тема также введенная в литературу 70-х и 80-х гг. Гаршиным („Денщик и офицер“).

Для сравнения остановимся лишь на одном рассказе Щеглова „Идиллия“.³⁹

„Идиллия“ и по теме и по выбору главного героя несомненно родственна рассказу „Денщик и офицер“ (по линии Стебелькова). Здесь, как и у Гаршина, в центре — образ прапорщика, только-что вышедшего из военной школы и получившего звание офицера. У Щеглова — это двое приятелей, они живут вместе на квартире, у них преданный денщик, балующая и обожающая своих постояльцев добрая старушка-хозяйка.

Вступление в офицерскую семью наполняет обоих приятелей безграничным счастьем. Оба они милы и симпатичны, преданы друг другу, несмотря на несходство их характеров. Нелепая ссора из-за нелепой причины разводит приятелей на всю жизнь, и уже в старости один из них, седой полковник, случайно узнает из газеты о смерти друга молодости. Их дружба, ребяческие забавы, первый бал, первая любовь, ухаживание поданы автором идиллически, без единой контрастирующей черты, без тени критики, как символ молодости, счастья, радости жизни.

Сравнивая с „Денщиком и офицером“, мы видим тот же материал, но совершенно иное освещение. У Гаршина — изображение пошлости и бесцельного прозябания пустельного барчука противопоставляется загубленной жизни мужика-солдата и вырастает в картину социального противоречия, рассказ Щеглова дает лакированную картинку, лишенную всякой проблемной остроты.

Оригинальной и очень показательной особенностью Гаршина является то обстоятельство, что в рассказе „Денщик и офицер“ в центре произведения собственно стоит не офицер, а денщик. Тема денщика также находит параллели в военной беллетристике 70-х — 80-х гг. Однако денщик подается в военных рассказах преимущественно как преданный слуга и помощник барина.

Следует отметить лишь один образ денщика, до некоторой степени приближающийся к гаршинской трактовке этого хара-

ктерного для военной беллетристики типа. Я имею в виду рассказ А. Н. Бежецкого (Маслова) „В походе“.

В военной беллетристике 80-х гг. Бежецкий занимает особое место. Если для Щеглова и других более мелких писателей военная тема была лишь эпизодом в их литературной деятельности, хотя бы эпизодом очень значительным, то для Бежецкого — это основная тема. Бежецкий был военным не по воле случая; для него военное дело — профессия: он — военный инженер, впоследствии профессор фортификации, генерал-лейтенант, автор ряда статей по военным вопросам. В его рассказах (сборник „Военные на войне“) ⁴⁰ чувствуется перо серьезного профессионала-военного. Он почти совершенно не выходит за пределы своей темы. Его интересует сама война, военное дело и типы военных. Бежецкий пересыпает свои рассказы обстоятельными, сухими, отчасти специальными даже, батальными сценами, которые представляют интерес для военного специалиста. Как истинный военный, Бежецкий не знает народа на войне, солдат для него боевая единица, и только лишь денщик, с которым офицер, естественно, должен соприкасаться ближе, является единственным представителем народной массы. Может быть, именно поэтому образ денщика в рассказе Бежецкого гораздо ближе примыкает к гаршинскому, чем у других писателей на военные темы.

Самойлов — денщик штабс-капитана Иловлина — коренастый и косолапый человек устрашающей внешности, мрачный и угрюмый, однако безраздельно преданный своему барину. Между командиром и денщиком установился грубый тон, но оба искренно привязаны друг к другу. Для командира Самойлов — и лакей, и нянька, и повар, и конюх, и банщик, и прачка. Имущество своего хозяина он оберегает „как собака“ (слова автора), хотя и позволяет себе иногда обсчитать его на счетах.

Как видим, все характерные черты бытового и литературного шаблона „денщика“ налицо и здесь. Но есть в рассказе и робкая, правда, попытка показать денщика с другой стороны.

Однажды офицеры разговорились с Самойловым, расспросили, чем он занимался перед войной и наконец поинтересовались, не получает ли он известий из деревни.

„— Известий никаких, а вот брат писал, опрошлую неделю письмо получил; пишет брат, что «твоя, говорит, жена, так и так, с дьяконом спуталась».

— Так что ты, когда вернешься в деревню, жену бить будешь?

Лицо у Самойлова приняло серьезное и сосредоточенное выражение.

— Зачем бить, ваше высокоблагородие?... Ей ведь тоже без меня скучно... Еще слава богу, дьякон, а не наш брат мужиченко рваный... Тот, по крайней мере, нет-нет, и руп денег даст... Вот она без меня как-нибудь и обойдется“.

Как видим, проблема солдатчины здесь, хотя бы и мельком, уже затронута. Но она отнюдь не развернута, а только едва-едва приоткрыта. Разложение семьи Самойлова — это лишь небольшой эпизод, не играющий значительной роли в произведении, так что по социальному своему качеству и этот образ никак нельзя считать равноценным Никите.

Сопоставление „Четырех дней“, „Труса“, „Денщика и офицера“ с родственными им произведениями военной беллетристики 80-х гг. показывает, что рассказы Гаршина, выражая тенденции радикального народничества, несомненно стояли на крайнем левом фланге литературы той поры. Этого нельзя сказать о последнем военном рассказе В. Гаршина „Из воспоминаний рядового Иванова“, появившемся в 1883 г. Это был переломный год в творчестве Гаршина. Радикально-народнические идеи и настроения достигают у него в этом году высшего напряжения („Красный цветок“) и тогда же начинают идти на убыль. О причинах и сущности этого перелома мы будем говорить особо, сейчас же остановимся на том, как этот поворот сказался в „Рядовом Иванове“.

Ко времени написания этого рассказа Гаршиным уже были созданы такие значительные вещи, как „Художники“, „Встреча“, „Ночь“, „Attalea princeps“. „Рядовой Иванов“ был, следовательно, произведением уже вполне определившегося художника, к тому же это был самый большой по объему военный рассказ Гаршина. Далее, „Воспоминания рядового Иванова“ вобрали в себя многие идейные и тематические элементы, намеченные в прежних его военных рассказах. Последний рассказ представляет собою, таким образом, как бы синтез работы Гаршина над военной тематикой. Тем больший интерес он имеет для нас.

Проблема интеллигенции и народа в этом рассказе объективирована в двух резко контрастирующих образах: это, с одной стороны — рассказчик — рядовой Иванов, с другой — офицер Венцель.

Что касается Иванова, то это устойчивый центральный образ гаршинских рассказов, alter ego автора, народнически мыслящий студент, пошедший в армию по доброй воле. Там, в общении с простым народом рядовой Иванов находит душевное спокойствие и мир с самим собой. Идея близости с народом руководит всем его поведением (вспомним хотя бы эпизод отказа Иванова поселиться в офицерской палатке), и он действительно добивается этой близости, солдаты любят его и говорят ему запросто „Михайлыч“ и „ты“. Но здесь же сказывается туманность и неопределенность этой идеи. Доверие достигнуто, близость установлена, но ради чего это предприятие, — так и остается невыясненным. Где та помощь, которую интеллигент-народник оказал простым солдатам, сблизившись с ними, — все это также неизвестно, автор обходит эти вопросы. Предпринят ли подвиг ради народа или только лишь затем, чтобы самому обрести нравственное спокойствие, и тогда в чем же его общественная ценность и почему это может доставить герою нравственное удовлетворение и мир с самим собою, — на все эти вопросы Гаршин не дает ответов и, естественно, не может их дать, не выходя из рамок народнической идеологии.

В либеральной военной беллетристике той поры еще до „Воспоминаний рядового Иванова“ был дан ответ на этот вопрос. Я имею в виду рассказ И. Щеглова „Поручик Поспелов“. ⁴¹ Молодой офицер-идеалист, именем которого назван рассказ, также видит свою цель в активном общении с солдатской массой. Но его цели просты и определены, это — организация солдатских школ, обучение солдат грамоте и разным полезным сведениям.

Деятельность Поспелова достигает определенных результатов, он получает благодарственные письма от обученных им солдат, которые обожают его. Неизвестно, как широко развернулась бы деятельность поручика Поспелова, если бы он не погиб такой же глупой смертью, как и „неудачный герой“ — не на поле битвы, а на больничной койке, от тифа, косившего русскую армию.

Разумеется, Гаршина не могла удовлетворить подобного рода педагогическая интерпретация идеи близости с народом, для него это было, очевидно, слишком мелко, но и ничего большего Гаршин все же не дал в своих „Воспоминаниях рядового Иванова“. Антиподом рассказчика является поручик

Венцель. Это тоже интеллигентный человек, воспитанный на литературе, знающий наизусть и любящий Шиллера, Гете и Шекспира.

„Когда я, почти мальчиком, поступил в полк... я старался действовать словом я старался приобрести нравственное влияние. Но прошел год, и они вытянули из меня все жилы. Все, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором. И теперь я думаю, что единственный способ быть понятым — вот“. При этом Венцель показывает кулак. Теперь он ненавидит и презирает солдат, и солдаты платят ему тем же. Венцель — жестокий истязатель, его кулачные расправы с солдатами оттапливающие жестоки, и рядовой Иванов, рискуя сильно поплатиться, останавливает его во время одной кулачной расправы. В его глазах Венцель — нравственный урод, холодный и бессердечный мучитель беззащитных солдат.

Но автор находит для Венцеля реабилитирующие его черточки. Оказывается, что он добрый сын, помогает старику отцу и сестре, прекрасный товарищ и храбрый офицер. Окончательная реабилитация Венцеля дана в заключительном эпизоде рассказа.

Венцель, этот жестокий истязатель, потеряв в бою пятьдесят два солдата своей роты, рыдает об убитых.

— „Пятьдесят два. Пятьдесят два“, — только и слышно. Подите к нему, — говорит Иванову Иван Платонович.

„Тонкий огарок слабо освещал палатку Венцеля. Прижавшись в уголку палатки и опустив голову на какой-то ящик, он глухо рыдал“.

Этим заканчивается рассказ, что придает эпизоду особую значительность. Значит, под корой грубости и жестокости в Венцеле живет какой-то другой человек, значит, полного осуждения Венцеля нет в этом рассказе. Примиренческая трактовка образа Венцеля уже отмечалась в литературе, да это совершенно очевидно и без всяких толкований.

„Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и *кроткого отношения к жизни*, как тогда, когда я испытал эти невзгоды и шел под пули убивать людей“ (курс. наш), — говорит о себе alter ego автора, рядовой Иванов.

Это „кроткое отношение к жизни“ и определило трактовку

образа Венцеля. Рядовой Иванов обрел на войне не только „мир с собою“, но и некоторые идейно-психологические предпосылки к миру с такими людьми, как Венцель. Это — то новое слово, по сравнению с предыдущими военными рассказами Гаршина, и, в частности, с „Денщиком и офицером“, которое приходится констатировать в „Воспоминаниях рядового Иванова“.

Венцель также имеет своих родственников в военной беллетристике. Один из них появился в литературе раньше рассказа Гаршина. Это капитан Букин из „Неудачного героя“ Щеглова.⁴² С Венцелем его роднит широкая образованность и литературные интересы. Подобно тому, как Венцель штудирует Шиллера и Гете, капитан Букин является большим почитателем Людвига Бёрне, с которым буквально не расстается.

„И при всем том, — говорит автор, — он с чего-то вбил себе в голову, что командир по отношению к солдатам должен быть непременно грубым и неумолимо строгим, на том основании, „что с этим народом иначе нельзя““.

Черты сходства с Венцелем/несомненны, но на этом они и кончаются. Капитан Букин по природе добр, и поэтому его отношения к солдатам не идут дальше окриков: „Почему у тебя, скотина, нет пуговицы?“ „Где пуговица, дрянь ты этакая, пуговица где?“, „Куца, мерзавец. Отчего, подлец, от тебя всегда такой негодный запах?“ и т. п.

Но презрение интеллигентного офицера к солдату, хотя и лишённое жестокости, не волнует автора; он подает его без тени осуждения, в тонах добродушной иронии. Его интересует не взаимоотношения интеллигента в офицерской шинели и крестьянина, его интересует Букин сам по себе. Гаршин пошел дальше Щеглова. Он показал, во что может выродиться презрение рафинированного интеллигента к народу; его образ Венцеля, хотя бы и реабилитированный, все же истолкован как нравственная аномалия, чего, конечно, нельзя сказать о Букине. Нельзя этого сказать и о другом „родственнике“ Венцеля — полковнике Гвоздеве из рассказа Бежецкого „Сражение“.⁴³

Полковник Гвоздев — старательный, храбрый и честный командир, но „это был, что называется, варвар-командир или вернее, мучитель“.

„Любимыми его словами были: „чучело“, „чумичка“, „уродина“. „Посадите этого болвана строгим арестом на четверо суток...“ Или: „навьючьте на это животное ранец с песком

и дайте ему в каждую руку по ружью, что бы он, скотина, лучше стоял на часах; целый час пускай стоит, остолоп“.

Это не только жестокость, но и презрение к солдату; оно сказывается у Гвоздева даже в одобрении и похвале.

„Присутствуя как-то во время мобилизации на стрельбе, в которой упражнялись призывные, он сказал с удивлением и довольной улыбкой: «эдакое криволапое мужичье... Еще только обмундировались и так хорошо стреляют»“.

Часто Гвоздев терзается и мучится своей нетерпимостью. Временами весь полк, от офицеров до последнего рядового, ненавидит его, но подчиняется только по дисциплине. Но в бою это вождь и моральная поддержка для солдат. В его голосе, когда он во время боя говорит с солдатами, слышится нежность, и солдаты „встревоженным сердцем“ чувствуют, что они не одиноки. Гвоздев значительно ближе к Венцелю, чем Букин, и, тем не менее, у Гаршина мы видим совсем иное идейное содержание образа. Для Гаршина Венцель — преступник, которому автор ищет смягчающие вину обстоятельства. Для Бежецкого Гвоздев — герой, не нуждающийся в оправдании; его грубость и мучительство еще резче и ярче оттеняют его военную доблесть. Для Бежецкого Гвоздев — характер, для Гаршина Венцель — проблема.

Народ, солдатская масса показана в „Воспоминаниях рядового Иванова“ значительно обстоятельнее, чем в прежних произведениях Гаршина. В „Четырех днях“ настроения массы показаны лишь в высказываниях героя; в „Трусе“ — сцена беседы с земляками является незначительным эпизодом. Здесь показаны уже отдельные представители солдатской массы, и среди них наиболее интересным является Житков, коренастый мужичок, угрюмого вида, но доброй души, оставивший дома жену и пятерых детей.

Отношение солдата к войне выражено Житковым совсем недвусмысленно.

„— Идем к чорту в лапы, — проворчал дядя Житков.

— Чего ты там, старый чорт, ворчишь? Народ смущаешь, к какому чорту в лапы? Почему ты такое произносишь?

— На праздник, что ли, идем — огрызается Житков.

— Не на праздник, а как должны исполнять присягу. Ты что когда присягал, говорил — «Не щадя живота...» А, старый дурак. Ты смотри у меня“.

Отпор, который встречает дядя Житков со стороны унтер-офицера, еще больше подчеркивает бунтарский характер его речей. Таким образом, в вопросе об отношении народа к войне Гаршин повторил то, что было уже им дано в „Четырех днях“ и в „Трусе“. Но, если вспомнить, что рассказ написан в 1883 г., т. е. пять лет спустя после окончания войны, то эта позиция Гаршина не представится ни особенно смелой, ни оригинальной. В послевоенной беллетристике о войне этот мотив появляется довольно часто. Мы уже встречались с ним в „Неудачном герое“ И. Щеглова и помним, что подобные настроения солдат явились „открытием Америки“ для поручика Кунаева. Но все же любопытно отметить, что в военной беллетристике несочувствие войне высказывается чаще всего не солдатами, а офицерами, может быть, потому, что офицеры были в центре внимания писателей.

Так, у Бежецкого („В походе“) есть эпизод, представляющий как бы офицерский вариант приведенного солдатского разговора из „Воспоминаний рядового Иванова“.

В одной из офицерских палаток говорят о том, что ротным командирам дадут фуражные.

„— А нам? — спросил маленький, худой и молоденький офицерик с заметно покрасневшим от вина лицом.

— А вам по паре подметок на сапоги. Ножки у вас молодые...

— Чужие они у меня, что ли? — горячился худенький офицерик. — Поскорее бы эта проклятая война кончилась; вот что. И на что нам эти славяне? Мы до войны о болгарях и не слыхали никогда. Они там кукурузу жрут и от жиру бесятся... а мы умирай. У меня совсем охоты нет за них свой живот класть. Не хочу живот свой класть. Или давай мне фуражные“.

Роль гаршинского унтер-офицера Карпова здесь играет проходивший мимо палатки майор Порошин, который резко обрывает разговорившегося офицера. Точно так же у Щеглова капитан Букин из „Неудачного героя“ отрицает самую идею войны. В его же „Первом сражении“ офицер Зайцев „выбивается из сил, доказывая, что все так называемое славянское движение — чистая тарабарщина“.

Но у Гаршина есть другой, примечательный момент в показе народной массы на войне. Это нескрываемое озлобление, которое солдаты питают к некоторым офицерам. Так,

тот же дядя Житков, выражая настроение солдат, очень недвусмысленно говорит о том, что солдаты убьют Венцеля, когда будут в деле.

В этом эпизоде Гаршин отразил большую силу мужицкой ненависти солдата к офицеру, и вся военная беллетристика той поры не дала ничего равного Гаршину в этом отношении. Но автор спешит смягчить суровое впечатление этого эпизода, он вводит вновь смягчающую деталь и заставляет дядю Житкова перед сражением отказаться от своих слов.

Много внимания уделяет Гаршин в этом рассказе изображению физических тяжестей войны. Вспомним очень сильные картины страданий солдат от дождей в мае месяце и описание тяжелого перехода под палящим солнцем, когда измученные жаждой и жарой солдаты валяются прямо на дороге, а некоторые умирают от солнечного удара.

Описания тяжести военных походов часто давались в военных корреспонденциях, и среди них есть одна, предвосхищающая соответствующие гаршинские эпизоды.

В 1878 г. в „Руском Вестнике“ (№№ 6, 8, 10) печатались воспоминания В. П. Гамулецкого „В походе и в битве“; в III главе этой статьи изображаются тяжелые переходы под раскаленным солнцем. В главе IV есть описание перехода вброд болота возле Прута, опять-таки близко напоминающее соответствующий эпизод у Гаршина, — переход большой лужи батальоном во главе с генералом — „молодчагой“. ⁴⁴

Близость описания двух аналогичных эпизодов и по фактическому содержанию и по стилю, хотя и без текстуальных совпадений, позволяет даже предположить возможность влияния очерков Гамулецкого на Гаршина. Во всяком случае ни о какой оригинальности Гаршина относительно этой темы говорить не приходится.

Что касается функционального значения этих эпизодов, то у Гаршина, равно как и у Гамулецкого, они играют роль натуралистических картин с нейтральной идейной окраской. Между тем в военной литературе тех лет соответствующие эпизоды иногда служили материалом для очень широких и жгучих обобщений. Отчасти мы с этим столкнулись у Щеглова; мы помним, что изображение повальных болезней в русской армии выполняло в его рассказах „обличительную“ функцию, хотя и в очень умеренной степени.

Но встречались соответствующие эпизоды, выдержанные в гораздо более решительном тоне.

Так, у В. И. Немировича-Данченко в книге „Год войны“ (1878 г.) есть описание замерзших на Шипке солдат.

„Это были замерзнувшие мученики Шипки. Замерзнувшие, потому, что о них никто не думал, потому что их жизнь никому не была дорога. Шаркунам, фразерам, карьеристам не было дела до этих сотен наших страстотерпцев и тружеников. Безотвратно умирали они на морозе, и ничей голос до сих пор не восстал за них потребовать отчета от тех, на чьей обязанности лежали заботы о них. Я обращаюсь теперь к этим последним, обращаюсь, как человек, у которого наболела душа, как очевидец этого позора: что вы сделали с этими сильными, здоровыми людьми? Оправдайтесь, если можете...“

„Помните, я не откажусь ни от одного слова моего обвинения, и если другие в армии прощали и оправдывали вас, я, последний быть может из людей, бывших там, я требую вашего ответа, я ставлю свой вопрос прямо и честно, обращаясь вместе с тем к чувству правды, которое все-таки живет в нашем обществе. Авось и оно тысячами уст после меня повторит вам тот же вопрос: «что вы сделали с своими солдатами?»“.⁴⁵

„Отечественные Записки“, вообще неодобрительно отозвавшись на книгу Немировича-Данченко, обратили, однако, внимание читателей именно на эту обличительную главу и нашли возможным поздравить автора с подобной страницей.⁴⁶ Эта рецензия служит для нас любопытным указанием на то, какую функцию должны были выполнять с точки зрения радикального народничества подобные эпизоды.

Для Гаршина, стоявшего в данном рассказе на точке зрения „кроткого отношения к жизни“, такая трактовка указанной темы была уже невозможна.

В этой связи нам остается упомянуть еще об одном эпизоде из „Воспоминаний рядового Иванова“, который уже заслужил печальную известность. Это эпизод императорского смотра. Солдаты возбуждены и воодушевлены любовью к царю, который, плача, приветствует их. Обратим внимание на то, как поданы здесь солдаты, с одной стороны, и царь — с другой.

„Солдат не имел в себе ничего щегольского, молодецкого и геройского, каждый был больше похож на простого мужика,

только ружье да сумки с патронами показывали, что этот мужик собрался на войну“.

Изображение царя: „...я не помню ничего из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное истомленное лицо, истомленное тяжестью взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падающие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорившие что-то, должно быть приветствие тысячам погибающих жизней, о которых он плакал“.

Итак, солдаты — это мужики, а царь — простой человек с истомленным лицом, жалеющий этих нищих мужиков. Поданный таким образом эпизод превращался в символ единения народа с царем. Реакционный смысл этой сцены станет еще яснее, если вспомнить, что она была создана два года спустя после события 1 марта.

Идеализированный образ Александра II сложился у Гаршина еще в бытность его на войне. В одном из писем с фронта Гаршин с тем же умилением, что и в „Рядовом Иванове“ описывает сцену императорского смотра.⁴⁷ Уважение к Александру II у Гаршина далеко не случайно. Он разделял его со многими представителями легального народничества. Корни этого пиетета к „царю-освободителю“ лежат, конечно, в переоценке крестьянской реформы 1861 г., в чем были повинны многие и многие народники. Любопытно отметить, что в 1880 г. „Отечественные Записки“ откликнулись на 25-летний юбилей царствования Александра II редакционной статьей, восхваляющей реформу и, опять-таки, нелишенной патриотических возгласов в честь царя.⁴⁸

Гаршин, разработав картину смотра в приподнято-лирическом стиле, пошел в этом направлении еще дальше; он сам не был уверен, приемлема ли его сцена для „Отечественных Записок“. „До сих пор я отдавал все свое в «Отечественные Записки», а пройдет ли там эта сцена, и даже больше — могу ли я, как сотрудник «Отечественных Записок» выдавать в свет такие сцены?“ — спрашивал он своего брата Евгения Михайловича.⁴⁹

Итак, несмотря на то, что рассказ в целом разработан по той же схеме, которую Гаршин создал в предыдущих военных

рассказах, конкретное идейное наполнение этой схемы показывает все же, что здесь Гаршин сделал значительный крен вправо.

Впрочем, этот поворот вправо можно констатировать только по сравнению с прежними военными рассказами самого Гаршина. Но на фоне военной беллетристики 80-х гг. и этот рассказ обнаруживал такие черты, которые выделяли его из общего потока военной беллетристики той поры. Все же и в этом рассказе центральный герой интеллигент-народник, основной проблемой и здесь является проблема единения с народной массой, наконец, и в обрисовке настроений самого народа на войне мы видели такие черты, которых не встречали в военных рассказах других авторов. Все эти моменты принципиально отличают и „Воспоминания рядового Иванова“ от аналогичных рассказов писателей-сверстников Гаршина.

Мы не коснулись двух произведений Гаршина на тему о войне, стоящих вне того круга проблем, который характерен и для него лично и для всей военной беллетристики. Я имею в виду, во-первых, корреспонденцию Гаршина в газету „Новости“ под заглавием „Боевые картинки“ (1877 г.) и, во-вторых, „Очень коротенький роман“, помещенный в журнале „Стрекоза“ (1878 г.).

Что касается „Боевых картинок“, написанных почти одновременно с рассказом „Четыре дня“, то этот очерк не прибавляет ничего нового к другим произведениям Гаршина.

„Очень коротенький роман“ значительно более интересен. Это единственная попытка Гаршина разработать тему войны на любовном сюжете.

Герой, честно сражающийся на войне, и девушка, оказывающаяся недостойной его, — такая коллизия становится популярной в связи с каждой войной, она получила некоторое, хотя и не широкое распространение и в связи с русско-турецкой войной.

У Гаршина герой даже на войну отправляется ради женщины.

„— Честные люди делом подтверждают свои слова. Вы были за войну, вы должны драться“, — говорит Маша герою „Очень коротенького романа“.

Но не идейные побуждения толкают его на войну: воевать он идет, чтобы заслужить любовь своей невесты.

Приведенные слова Маши здесь, очевидно, являются отражением того же пустого общественного мнения, которое преследовало и „труса“, но к которому тот остался вполне равнодушен.

„Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле?“

В „проблемном“ рассказе эти слова и не могли играть иной роли. В „Очень коротеньком романе“ они определяют судьбу героя. Такова логика развития военного рассказа с любовным сюжетом.

Стоит отметить и то обстоятельство, что обманутый герой примиряется со своей судьбой без борьбы, без протеста и даже без укора. „Кроткое отношение к жизни“, так ярко сказавшееся в „Воспоминаниях рядового Иванова“, наметилось, таким образом, уже здесь. Как бы то ни было, этот рассказ Гаршина стоит на боковой линии его творчества, и хотя Гаршин в разработке этого типа рассказа явился пионером, также как и в других областях военной беллетристики, но все-таки подобный тип рассказа не нашел развития в его творчестве.

Это вполне понятно. Война для Гаршина не была фоном для разработки посторонних сюжетов. Для него война была прежде всего неожиданным и непонятным бедствием, постигшим народные массы. Перед этим бедствием он, вместе со всеми народниками, остановился в растерянности и недоумении, отразив, таким образом, в своих военных рассказах беспомощность народнической идеологии перед лицом первого серьезного социального потрясения. Его глубоко искренний протест против войны в конечном счете сводился к простому стремлению разделить общую участь обездоленного войной трудового люда.

Тем не менее, даже стоя на позиции ограниченного радикализма, Гаршин в своем военном цикле все же сумел разоблачить официальную демагогическую версию о „народности“ русско-турецкой войны. Он показал враждебность этой войны народным массам, он приоткрыл истинное лицо военщины, угнетающей народ как во время войны, так и в мирной обстановке.

Созданные им образы интеллигентов-участников войны, те положения, в которые автор ставит своих героев, их раз-

мышления и переживания в связи с войной, — все это чрезвычайно типично для радикальной мелкобуржуазной интеллигенции 70-х гг.

Этим объясняется большой успех военных рассказов Гаршина в демократических кругах его времени, этим же определяется и познавательная ценность его военного цикла для наших дней.

Рассматривая военные рассказы Гаршина, мы уже отметили одну чрезвычайно характерную их особенность, именно то, что война показывается им преимущественно сквозь призму настроений и переживаний героя-интеллигента. В военных рассказах автор делает его участником острого конфликта, нарушающего весь ход нормальной жизни огромных человеческих масс. В другой группе своих произведений Гаршин устраняет те чрезвычайные, выходящие из рамок обыденной жизни, обстоятельства, какие дает война. Он ставит своего героя-интеллигента лицом к лицу с обычными, будничными, примелькавшимися фактами действительности, из которых складывается, однако, весь строй общественной жизни. Так образуется особый цикл рассказов Гаршина — рассказов, посвященных специально вопросу об интеллигенции, об ее взаимоотношениях с народом, об ее общественных задачах, о роли и месте ее в жизни страны.

Эти вопросы занимают в то время не одного только Гаршина. С середины 70-х гг. проблема интеллигенции становится чрезвычайно популярной, волнующей и особенно злободневной.

В чем причины ее популярности?

Вспомним, что к середине 70-х гг. наметилось изменение народнических взглядов на значение политической деятельности, вспомним также, что появившаяся к тому времени партия „Народной Воли“ считала завоевание политических свобод своей основной задачей.

„Вера в коммунистические инстинкты мужика, естественно, требовала от социалистов, чтобы они отодвинули политику и «шли в народ». За осуществление этой программы взялась масса энергичнейших и талантливых работников, которым на практике пришлось убедиться в наивности представления о коммунистических инстинктах мужика. Решено было, впрочем, что дело не в мужике, а в правительстве, — и вся работа была

направлена на борьбу с правительством, борьбу, которую вели одни уже только интеллигенты и примыкавшие иногда к ним рабочие. Сначала эта борьба велась во имя социализма, опираясь на теорию, что народ готов для социализма и что простым захватом власти можно будет совершить не политическую только, а и социальную революцию. В последнее время эта теория, видимо, утрачивает уже всякий кредит, и борьба с правительством народолюбцев становится борьбой радикалов за политическую свободу".¹

А это, естественно, выдвигало на первый план интеллигенцию, ибо от организации массового политического движения среди крестьянства народники к тому времени решительно отказались.

Совершенно понятен тот напряженный интерес, который проявила к этому вопросу легальная журналистика: проблема интеллигенции к середине 70-х гг. стала формой выражения вопроса о судьбах мелкобуржуазного радикально-демократического движения в России, а для легальной печати, к тому же, только эта сравнительно безобидная в цензурном отношении форма и была доступна.

Статьи, посвященные этой злободневной теме, стали заполнять страницы толстых журналов и столбцы влиятельных газет. Разгорелась оживленная и острая полемика.

„Мы, народники, мы, последовательные общинники, мы, которых преимущественно зовут народолюбцами, мы заявляем, что прежде «народного вопроса» должен быть разрешен «вопрос интеллигенции», вопрос об элементарнейших правах умственного и образовательного ценза, — писал Н. Златовратский. — Только свободная интеллигенция, во всеоружии своих прав и свободной мысли, может слить свои интересы с интересами народа и смело и плодотворно взяться за решение задач, логически неизбежно назревших для нашего поколения".²

Вопрос интеллигенции, хотя и ставится здесь раньше „народного вопроса“, но не противопоставляется ему, напротив, „слияние“ своих интересов с интересами народа объявляется прямой задачей интеллигенции. Роль интеллигенции, как представительницы крестьянских интересов, утверждается в этой статье очень ярко.

Защита народных, т. е. крестьянских, интересов становится в понимании народнической публицистики отличительной чертой интеллигенции. Эта мысль многократно повторяется на страни-

цах народнической прессы. Вот, что пишет, например, в „Отечественных Записках“ (1882, 10) анонимный автор статьи „по поводу внутренних вопросов“:

„Если она [т. е. интеллигенция] на какую-нибудь роль в жизни и претендует, то, конечно, больше всего на одну роль — на свободу мысли и критики общественных явлений и на свободу деятельности для народного блага... Творчество ее мыслимо только в направлении народной пользы. Иначе она творить ничего не в состоянии“ (стр. 276).

„Народную пользу“, как известно, народники видели в спасении крестьянства от капитализма, от буржуазии. Считая интеллигенцию единственно верной защитницей народа, они должны были противопоставить интеллигенцию буржуазии.

В. И. Ленин рассматривал народничество как теорию „массовой мелкобуржуазной борьбы капитализма демократического против капитализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» против капитализма «прусского». (Ленин. Соч., XIV, стр. 214.) Будучи объективно выразителями интересов мелкой буржуазии, идеологами крестьянского демократизма, а, следовательно, борцами против помещичьего и бюрократического строя, народники субъективно считали себя борцами с капитализмом вообще, господство которого они мечтали предотвратить. Эта черта нашла отражение и в их трактовке проблемы интеллигенции. Интересы интеллигенции объявлялись противоположными интересам буржуазии. Таким образом, говоря об интеллигенции вообще, народники разумели лишь интеллигенцию мелкобуржуазную.

„Русская интеллигенция и русская буржуазия не одно и то же и до известной степени даже враждебны и должны быть враждебны друг к другу; предоставьте русской интеллигенции свободу мысли и слова и, может быть, русская буржуазия не съест русского народа; наложите на уста интеллигенции печать молчания — и народ будет наверняка съеден...“, — так резюмировал Н. Михайловский свои рассуждения о взаимоотношениях интеллигенции и народа, с одной стороны, интеллигенции и буржуазии — с другой.³ Эта цитата может быть признана в известном смысле классической, до того точно и исчерпывающе отражает она реакционно-утопическую мечту народничества о том, что при изменении политического строя, освобожденная интеллигенция сможет спасти народ от капи-

тализма. Эта же цитата, между прочим, показывает огромную проблемную емкость вопроса об интеллигенции и объясняет исключительную популярность его в журналистике и беллетристике конца 70-х и 80-х гг.

Нужно отметить, что самый факт признания интеллигенции решающей силой общественного развития, признания вопроса интеллигенции равноценным с „народным вопросом“ означал именно изменение тактики народников в сторону политической борьбы, которая раньше была как бы монополией либерального лагеря.

Однако (и это вполне естественно) отмежевание от буржуазии, стремление противопоставить интеллигенцию буржуазии было совершенно неприемлемо для либералов, которые к тому времени даже не скрывали буржуазной сущности своей программы. Наиболее откровенным в этом вопросе был известный писатель, критик и публицист Евгений Марков, совершенно открыто выступающий как представитель „буржуазных идеалов“, которые он стремится защитить от нападок народнической публицистики.

„Во времена глубокой древности, когда люди были и умны слишком просто, и счастливы слишком просто, лучшею похвалою человека считалось, если его признавали добрым гражданином, добрым буржуа, — пишет Евг. Марков. — Решительная победа человека над природою, наука человека, промышленная жизнь его, его общественность, олицетворяются только в буржуа. Напрасно уверяют, что буржуа — такая же очередная новейшая монополия, как и побежденные ею средневековые монополии. Нет, торжество буржуа есть окончательное разрешение в принципе вопроса общественной справедливости. Средневековая монополия отрицала равенство в идее. Буржуазия же не даром отождествила себя с демократиею. В ней действительно признаны слова целого народа. Единственно на принципах буржуазии, демократии, основаны были все великие исторические акты европейской общественной жизни в течение XIX столетия, даже те акты, которые имели прямою целью возрождение рабочего класса. Если до сих пор буржуазии противопоставляют рабочего, то на это имеют право единственно в смысле признания фактического различия положения их. Буржуазия — успевший рабочий, а рабочий — неудавшийся буржуа. Вот и все“.⁴

Конечно, теперь нет никакой надобности оспаривать апологетические по отношению к капитализму взгляды Евг. Маркова. Нам важно лишь показать противоположность их взглядам народников, против которых и направлена данная статья. Как мы помним, по Михайловскому, интеллигенция нуждается в свободе для того, чтобы защитить народ от буржуазии, а для Евг. Маркова господство буржуазии и есть господство общественной справедливости. Социалистическая фразеология народников была совершенно неприемлема для него — антибуржуазные лозунги народников он подвергает жестокому осмеянию.

„Мы ждем от своих надменных отрицательных утопий нового мира, нового человека, мы не хотим унизиться до узкой материальной точки зрения, до жидкой морали, до слепых общественных предрассудков западного буржуа; мы смотрим через его бедную тупую голову вперед и вдаль, в фантастические туманы будущего. Его буржуазная наука, его буржуазный общественный быт, его буржуазное благосостояние, его буржуазное государственное устройство, добытое им с такою затратою труда и гения, борьбою долгих веков, не соблазняют нас и не могут удовлетворить нас. На то мы свежий, нетронутый историею народ, на то у нас крестьянская община, непочатые степи, на то у нас новомодные доморожденные мыслители ежемесячных журналов и ежедневных газет, которые до всего своим умом дошли, без Дарвина и Спенсера“, ⁵ — пишет он, пародируя народников.

Итак, для народников, субъективно, весь смысл разрешения вопроса об интеллигенции сводился к тому, чтобы получить свободу борьбы ради предотвращения буржуазных порядков, в то время как для либералов интересы интеллигенции, как носительницы идей „общественной справедливости“, полностью совпадали с интересами буржуазии. ⁶ Буржуазный характер взглядов Евг. Маркова был совершенно очевиден его современникам; Ткачев, например, нисколько не затруднялся в определении классовой сущности этого писателя. ⁷ Но и другие представители либерального лагеря, если и отличались от Евгения Маркова, то лишь степенью определенности, а вовсе не существом воззрений. Так, внутренний обозреватель „Вестника Европы“ (очевидно, Л. Полонский) еще ранее Евг. Маркова утверждал, что наш образованный класс „по положению своему соответствует западной буржуазии, но в нем есть и лучшее

свойство западного дворянства и элементы чисто-народные". По теории Л. Полонского — от дворянства интеллигенция берет понятие о службе государству, от буржуазии — понятие о правах личности независимо от сословности, от народа — понятие о всенародности, о воле массы.⁸ Несмотря на некоторые отличия точки зрения Полонского от взглядов Евг. Маркова нетрудно заметить общее зерно: и тут и там интеллигенция рассматривается как выразительница единства интересов буржуазии и народа.

Итак, центральной фигурой, определяющей ход общественного развития как народниками, так и либералами признавался интеллигент. Но народники относили к этой категории прежде всего интеллигента-отрицателя, выступающего против основ современного политического строя, в то время как либералы выдвигали на первый план интеллигента, действующего в направлении частичных буржуазных реформ при сохранении и укреплении основ существующего строя.

Но как мыслился в народнической литературе интеллигент-отрицатель? Формы отрицания, конечно, могли быть различны. Подпольная печать не оставляла сомнений относительно этой формы. Ее героем был интеллигент, — активный революционер, хотя бы и оторванный от масс одиночка. В легальной же народнической печати той поры, близкой к „Народной Воле“ (например, в группе „Отечественных Записок“), центральной фигурой становится интеллигент, глубоко-отрицательно относящийся к современной действительности, недовольный всем строем общественных отношений, изнемогающий в этих условиях, до некоторой степени одинокий человек, не находящий настоящих, родственных ему общественных связей и рвущийся из тех принудительных общественных пут, которые навязаны ему современным обществом. Демократические устремления народнической литературы начинают заметно окрашиваться в пессимистические тона. И это вполне понятно: реальный ход общественного развития противоречил утопическим мечтаниям народников. Ленин определенно считал пессимизм характерной особенностью народничества.

„Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. «Ученик» верит в данное общественное развитие,

ибо он видит залогом лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий“.

„...Первое и последнее направление характеризуется тем, что можно бы назвать историческим оптимизмом: чем дальше и чем скорее дела пойдут так, как они идут, тем лучше. Народничество, наоборот, естественно, ведет к историческому пессимизму: чем дальше дела пойдут так, тем хуже“.⁹

Неудивительно поэтому, что в 70-х—80-х гг. понятие интеллигента-народника часто сплеталось с понятием пессимиста, и защита законности пессимизма становилась защитой народничества. Иногда эта защита принимала на первый взгляд даже несколько странные формы. Так, Михайловский в 1879 г. под градом упреков, возмущений и насмешек, упорно доказывал свое право находиться в состоянии „нравственной прострации“. Пеняйте не на меня, а на общественные условия, которые довели меня до этого состояния, — таков был смысл его статей.¹⁰

Анонимный рецензент „Отечественных Записок“ так защищает право писателей на пессимистическое изображение действительности:

„Кругом себя мы не видим ни светлых личностей, ни подвигов, а видим всю старую, знакомую мерзость нравственного запустения, идеализировать которую нет ни охоты, ни сил“. „Если нам так писалось и пишется, значит есть и причина тому — причина, лежащая не внутри, а вне нас, заключающаяся не в наших так называемых «темных очках», а в колорите самой действительности“. „Надо быть очень мелким человеком и надо судить о людях по себе, чтобы в этой скорби усматривать простой мундир, надеваемый для пущей важности и оригинальности, в этих слезах — соленую воду, в этих страстных изобличениях — одни красивые «слова, слова, слова». В пессимизме напр. г-жи Крестовской более жизненной силы и человеческого чувства, нежели в беспечальных размалевываниях какого-нибудь благонамеренного маляра“.¹¹

Три идеи чрезвычайно показательны здесь для понимания народнической трактовки пессимизма: во-первых — утверждение того, что причина пессимизма находится „вне нас“, в самом „колорите действительности“, во вторых — понимание пессимизма, как жизненной силы и, в-третьих — отождествление пессимизма и обличительства: „скорбь“, „слезы“ и „страстные изобличения“ объединяются здесь в единый комплекс.

Нечего и говорить о том, что народнический пессимизм стал предметом нападок справа. Уже известный нам Евгений Марков обозвал эту тенденцию народнической литературы и публицистики „литературною хандрю“. Обращаясь к „вечно-ноющим прогрессистам“, он пишет:

„Мы не хотим делать из литературы и из критики, — ее уяснительницы, — заказных плакальщиц целого божьего мира“. „Нам претит эта неискренняя заказанность вечного обличения, во все буквы и между строк. Мы готовы поучиться, готовы каяться, готовы нести и жертвы и наказание; мы не страшимся посмотреть в глаза самой жестокой и беспощадной правде; но мы вместе с тем и прежде всего — хотим жить всей нам принадлежащей жизнью...“

Не делайте нас всех больными и несчастными из-за того, что на свете есть больные и несчастные. Если нельзя не признать их прав на сострадание и помощь, то неужели мы меньше имеем права на жизнь и счастье? Дайте же и нам жить“. ¹²

Как видим, Маркову была совершенно ясна политическая направленность народнического пессимизма, его отрицающий, обличительный характер, он хочет лишь доказать, что не все так непоправимо плохо в современной действительности, как это изображают народники („божий мир прекрасен и нам есть место для отрады“). Свою борьбу с пессимизмом он сам рассматривает, как борьбу с народническим движением и тесно связывает свою антипессимистическую позицию с либерально-реформаторскими стремлениями.

„Нет ничего опаснее таких праздных и ошибочных мечтателей, потому что они в настоящем поселяют разлад, отрицание, вражду, а в общем готовят нелепые погони за иллюзиями, горькие разочарования, падения, безнадежность.“

„Все это должно бы, кажется, убедить руководящие наши силы в необходимости сорвать соблазнительную маску с нелепых мечтаний и обнаружить их во всем их голье, во всех их греховных немощах. А путь к этому, повторяем, один... предоставить обществу разумную и свободную жизнь, какою пользуются все взрослые общества“. ¹³

Мысль либерала-автора совершенно ясна: пессимизм — это „нелепые мечтания“, „погоня за иллюзиями“, словом — революция; общество должно быть ограждено от этой пессимистической заразы; для этого и необходимы либеральные

реформы европейского образца. Народническая же защита пессимизма означала как непонимание реального направления общественного развития, так и нежелание присоединиться к буржуазной апологетике помещичье-капиталистического строя; народнический пессимизм выражал неприятие основ самодержавного бюрократического строя. Таким образом, проблема пессимизма становилась частью более общего вопроса — о путях общественного преобразования. Этим и объясняется исключительная популярность этой проблемы в литературе 70-х — 80-х гг.

В кругу намеченных выше вопросов (интеллигенция и народ, интеллигенция и буржуазия, проблема пессимизма) вращаются многие произведения Гаршина.

Хронологически самым ранним из них является „Проклещивание“ (1878 г.).

На первый взгляд этот рассказ имеет очень мало общего с интересующей нас проблемой. В самом деле, его сюжетный стержень — самоубийство героя из-за неудачной любви, казалось бы, не обладает проблемной остротой. Но дело все в том, что причиной самоубийства нашего героя послужила любовь к проститутке, а изображение проституции, как известно, уже давно успело стать популярной формой обличения несправедливости общественных условий, порождающих и узаконивающих это явление. И Гаршин в этом рассказе очень настойчиво подчеркивает именно общественную санкцию проституции.

— „Да и у меня свой пост! И я тоже нужна и необходима, — говорит сама Надежда Николаевна. — Недавно приходил ко мне один юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал наизусть из какой-то книги. «Это наш философ, наш русский философ», говорил он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное; вроде того, что мы «клапаны для общественных страстей». «Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность, но ведь это — мой пост»“.

Горькая ирония Надежды Николаевны, как мы видим, направлена против общественного оправдания проституции, против того порядка вещей, при котором существуют подобные „должности“. Неудача любви героя рассказа — интеллигентного и честного молодого человека Никитина, происходит именно

из того, что „должность“ Надежды Николаевны убила в ней веру в возможность собственного возрождения и в чистоту намерений других людей: „Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть?“

Выходит, что Никитин погиб, собственно, не из-за неудачной любви, а в результате столкновения с несправедливостью общественного устройства. Тот револьверный выстрел, которым он покончил с собой, получал, таким образом, широкий общественный резонанс.

Выше мы говорили о народнической защите пессимизма. В связи с этим даже и участвовавшие случаи самоубийств интеллигентных молодых людей служили для народников не только доказательством негодности общественного строя, толкающего интеллигентную молодежь на самоубийство, но и рассматривались как резкое проявление пессимистического протеста, как показатель жизненной силы той среды, из которой раздавались самоубийственные револьверные выстрелы.

„Что в так называемом интеллигентном обществе, наполняющем собой авансцену, — писал Михайловский, — господствует или чисто утробная жизнь, или полнейшая скука и апатия — это так. Но что кроется в обществе и жизнь настоящая, глубокая — это верно. Представители этой жизни — зачем скрытничать? — мы. Смейтесь, пожалуй, если хотите; но по известной поговорке, справедливо смеется только последний. Много есть тому признаков и документов, я приведу только два. Во-первых — самоубийства (курсив наш.). Смерть, как признак и доказательство жизни, может вам показаться парадоксом, но когда я вам в свое время расскажу, как и что, так вы увидите. Во-вторых — литературные толки о народе. Разбирать, как, почему, что и кто говорит на эту тему, не мое дело. Я узнаю только, что говорят. На что уж „Вестник Европы“, ежемесячный покойник в желто-красном гробу с виньеткой Шарлеманя, и тот заговорил. Это наша мысль, наша жизнь, наша кровь в ход пошла“. ¹⁴

Объединение в единое свидетельство о жизненности радикально народнической группы двух фактов: самоубийств и литературных толков о народе очень определенно намечает угол зрения, под которым воспринимались факты самоубийств. В действительности, участвовавшие в конце 70-х гг. случаи

самоубийств интеллигентных молодых людей народнического образа мыслей порождались бесперспективностью той борьбы, которую вели интеллигенты-одиночки, оторванные от народной массы. Не видя корней этого явления в свойствах народнической идеологии и тактики, народнические публицисты, поднимая вопрос о самоубийствах, подчеркивали лишь одну сторону явления, — именно связь роста самоубийств с неудовлетворенностью значительной части мыслящей молодежи всем строем русского общества.¹⁵ В цитированной выше статье Михайловский еще раз возвращается к тому же вопросу (может быть, исполняя обещание, данное в приведенной части). Он говорит о картине Семирадского „Светочи христианства“. В этой картине гонители христианства и гонимые христиане разделены на два лагеря: гонители — слева, казнимые — справа. „На деле, — говорит Михайловский, — нередко были переходы с левой стороны картины на правую, из рядов гонителей в ряды гонимых. В картине Семирадского этот момент ничем не отразился. *А самоубийства?* (курсив наш.). Где они, то есть, где их корни в старом мире, где эта готовность без страха, без сожаления оборвать нитку жизни? На картине старый мир счастлив, положим, по-скотски счастлив, но все-таки сплошь счастлив, а на деле было не так“. ¹⁶ Итак, по мысли Михайловского самоубийства — это знак выхода из состояния спячки и скотского счастья и перехода из лагеря гонителей в ряды гонимых. Если так расценивались самоубийства пресытившихся римских патрициев, то тем более это относилось к фактам, вроде изображенного Гаршиным.

Сочувственное изображение самоубийств использовалось в народнической литературе для обличения русского общественного строя. Либеральная журналистика, подчеркивая связь самоубийственных настроений с утопичностью народнических мечтаний, в то же время стремилась использовать этот факт для борьбы с революционными настроениями вообще. Например, С. Венгеров, у которого уже в 70-х гг. явно звучала либеральная струна, так объясняет причины самоубийств:

„С одной стороны, головная утопия, годная только, может быть, для очень отдаленного времени, с другой стороны, действительность, более отрицательная, чем положительная, — вот что в самом деле сбивает с толку наши молодые силы,

вот что их губит и преждевременно отнимает их у общества...“¹⁷

Итак, отрицательная действительность уже на втором плане, а на первом — „головная утопия“, т. е., по мысли С. Венгерова, конечно, революционные стремления. Как видим, здесь оружие радикальных народников начинает поворачиваться против них.

В „Неделе“ вторая половина венгеровской формулы отбрасывается вовсе.

„Не требования жизни заедают нас, а то, что мы навязываем ей мечтательные требования. И вот, когда наши мечты не осуществились и впереди является пустота — мы или слабеваемся и опускаем руки или лишаем себя жизни“.¹⁸

„Мечтательные требования“ вполне однозначны с венгеровской „головной утопией“. Здесь факты самоубийства трактуются уже определенно против радикального народничества. Но эти выступления противников радикального народничества также чрезвычайно показательны: самоубийства и здесь связываются с революционными, во всяком случае, протестантскими идеями. Все это показывает, что сочувственное изображение самоубийств интеллигентной молодежи в этой атмосфере неизбежно должно было принять оттенок социального протеста. Выступая против народнического оправдания самоубийств, реакционная публицистика прямо связывала пессимизм, скептицизм и самоубийства с „крамолой“. Возьмем для примера известного ренегата А. А. Дьякова (Незлобина). В его рассказе „В народ“ русский социалист-эмигрант беседует со своим старым знакомым, не принадлежащим к революционной эмиграции; этот последний думает вернуться на родину. Социалист убеждает его покончить самоубийством:

„Удавился там или застрелился ты, — значит, убежден; значит, тебя скептицизм заел; значит, ты собственной смертью протестуешь против легального мира. Это очень важно, нам такие люди нужны... Нет, брат, ты непременно должен удавиться: все-таки не даром пропадешь, докажешь, что ты враг существующего порядка“. „Нынче мы требуем жертв, доказательств, беззаветности... Ты не имеешь права жить, когда миллионы людей дохнут с голоду... Направь свои мозги к этому пункту, — ты сам увидишь, что жить в наше время подло...“¹⁹

Этот реакционный гротеск очень показателен: он несомненно направлен против социалистов, которых автор этого пасквиля старается изобразить как сознательных подстрекателей к самоубийству.

Мы видим, что рассказ „Происшествие“ был не случайным гостем в „Отечественных Записках“. Сочувственное изображение молодого интеллигента, покончившего самоубийством в результате столкновения с вопиющим фактом несправедливости общественного порядка, несомненно, имело „обличительный“ смысл и являлось художественным выражением идей, разрабатывавшихся в народнической публицистике в связи с темой самоубийства.²⁰

Следует отметить, что сам Гаршин не осознавал этого факта.

„Думаю, что «О. З.» не поместят ее, — писал он матери, — им ведь все надо «умное», чтобы читатель всегда помнил, что мужик страдает, а он, читатель, подлец. Все это хорошо, но ведь есть и другие темы...“

На деле „Отечественным Запискам“ нужно было, чтобы читатель помнил не только о том, что мужик страдает, но также и о том, что страдает честный интеллигент. Эта „другая тема“ была для „Отечественных Записок“ конца 70-х гг. не менее важна и актуальна.

„Отрывок мой, — продолжает Гаршин, — до войны, до социальных, политических и иных вопросов вовсе не коснется. Просто мучения двух изломанных душ“.²¹

Но Гаршин сам показал, что „души изломаны“ определенным общественным устройством, а раз так, то вопрос получался именно социальный и политический.

Однако это письмо все-таки свидетельствует о том, что уже ко времени „Происшествия“ у Гаршина субъективно наметилась тенденция к отходу от социальных и политических вопросов, и эта тенденция не заглохла; она принесла свои плоды, но уже значительно позже. Что же касается конца 70-х и начала 80-х гг., то в этот период творчество Гаршина еще целиком вращается в сфере социальных и политических вопросов.

К этой же сфере относится и рассказ его „Встреча“ (1879 г.). Здесь мы опять сталкиваемся с проблемой интеллигенции, но взятой уже с другой стороны, нежели в „Происшествии“.

Этот рассказ имеет явно обличительную окраску. В центре его инженер Кудряшов, интеллигент, некогда в годы студенчества исповедывавший какие-то общественные идеалы, а затем вступивший на путь буржуазного хищничества и казнокрадства, превратившийся в циничного и беззастенчивого дельца. Цинизм Кудряшова, ставший его убеждением, Гаршин подчеркивает на протяжении всего рассказа. Кудряшов отказывается различать между „честными“ и „нечестными“ средствами.

„— Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно, — говорит он. — Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не понимал“.

„Все берут от жизни, что могут, а не относятся к ней платонически“ — таков его девиз.

Образ Кудряшова дается автором прямолинейно, путем самопризнаний и самохарактеристик героя, так что не оставляет никаких сомнений относительно авторского отношения к нему. Инженер Кудряшов, в обрисовке Гаршина, не только буржуазный хищник, но и ренегат, изменивший каким-то честным стремлениям студенческой поры, когда он сам голодал, питался грошовой колбасой и бегал по грошовым урокам. Нужно сказать, что в сознании Гаршина инженер всегда был или буржуазным дельцом или невольным помощником и слугой буржуазии.

„Карьера горного инженера пугает меня, — писал Гаршин в 1876 г. — Я знаю многих из них; все разделяются на три категории: одни — дельцы, загибающие деньги, чины, места, другие — спившиеся люди, третьи — кандидаты во вторую категорию, люди хорошие, честные, страдающие из-за того, что стоят не у дела, а у пустого места. Да разве это не пустое место — набивать мошну какомунибудь неучу“.²²

Кудряшов из „Встречи“ принадлежит к первой наиболее ненавистой для Гаршина категории. Фигура интеллигента, перешедшего в лагерь господствующих классов, — буржуазии или бюрократии, — была ненавистна не одному Гаршину, а всей народнической литературе. „Нет, бог с ней, с такой интеллигенцией, — восклицает анонимный составитель „Литературной летописи“ в „Русском Богатстве“. — Я стою за свою, за ученых, за загнанных учителей, за запуганных литераторов“.²³

Вспомним также, что в упоминавшихся уже не раз очерках „Вперемежку“ Михайловский, говоря о картине Семирадского,

мысленно поместил влево, т. е. в лагерь гонителей, кузена-прокурора и почти всех участников либерального салона тетушки Анны Сергеевны. Интеллигент — делец, интеллигент — бюрократ резко противопоставлялись студенту, учителю, ученому, литератору.

Литература народнических журналов всегда рисовала образы, подобные Кудряшову, в обличительных тонах. Помещенный в „Отечественных Записках“ три года спустя после „Встречи“ рассказ не очень крупного, но в те годы довольно заметного писателя В. Кроткова „Последняя жертва катастрофы“²⁴ даже отдельными деталями соприкасается с рассказом Гаршина. Начальник дистанции N-й железной дороги Перечеркаев близко напоминает гаршинского Кудряшова. Он также образованный делец и также беззастенчиво набивает себе карман. Он производит железнодорожные работы таким же способом, как Кудряшов постройку мола.

„Проекты за проектами улучшения пути летели от него в управление, а оттуда выше по инстанциям на утверждение. Недавно он представил смету на переделку моста на реке В. в двух верстах от станции“. Постройка временного моста и разборка старого поручается ему же. К своему „заработку“ он относится также цинически, как и Кудряшов. „Не меньше красненькой... Меньше не помирюсь“, — так оценивает свои барыши Перечеркаев в интимном кружке своих наиболее близких знакомых. Происходит крушение. Масса жертв. Но совесть не мучит Перечеркаева, как не мучила она и Кудряшова. „Она у него железная, — восклицает автор. — Железно-дорожная!“ Появление родственников Кудряшова на страницах „Отечественных Записок“ без какого бы то ни было влияния Гаршина показывает типичность этого образа для народнической литературы.

Следует отметить еще одну черту Кудряшова, делающую этот образ особенно содержательным в проблемном отношении. Дело в том, что Кудряшов стал хищником не только по положению, но и по убеждению. Он — социальный дарвинист, сторонник прямолинейного перенесения теории борьбы за существование в общественную практику. Вспомним эпизод с аквариумом, который завел Кудряшов. Он смотрит, как рыбы, не философствуя и не конфузясь, пожирают друг друга, перехватывают добычу, и из этого зрелища он почерпает уроки житейской мудрости.

„— Это моя гордость и утешение, — говорит он о своем аквариуме. — Придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так, как наш брат-человек. Жрет друг друга и не конфузится“.

Совершенно очевидно, что своим образом Кудряшова Гаршин показал теорию социального дарвинизма, как оправдание буржуазного хищничества. Своим рассказом „Встреча“ он присоединился к той характерной для народничества борьбе против этого направления, которую еще в начале 70-х гг. принял Н. Михайловский.²⁵

Кудряшovu противостоит в рассказе Василий Петрович, интеллигент другого склада, честный человек, учитель. Но все же это не alter ego автора. Несмотря на субъективную честность и „честное“ общественное положение (учитель), в нем нет той силы внутреннего отпора кудряшовским началам, которая могла бы удовлетворить Гаршина.

Отметим те черточки, посредством которых Гаршин последовательно и настойчиво снижает социальную ценность своего героя. Василий Петрович, приехавший начать скромную работу пахаря „на будущей ниве“, все же привозит рекомендательные письма на имя местных тузов. Он не чуждается, следовательно, связи с людьми кудряшовского типа и даже рассчитывает на их содействие. Да и учительствовать он собирается главным образом ради того, чтобы накопить тысячу рублей „для первоначального обзаведения“ после женитьбы. Гаршин подчеркивает, что мечты о будущей семейной жизни для него еще более заманчивы, чем мечты о плодах своего честного учительского труда.

Но окончательно компрометирует Гаршин своего героя, непосредственно столкнув его с кудряшовской подлостью.

„Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок краденый, — думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино. — А сам что я делаю, не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну так что же»“.

После этих последовательных ударов, наносимых автором своему герою, читатель должен почувствовать долю истины в словах Кудряшова, адресованных Василию Петровичу: „Не возмущаю я тебя, да и все“.

Образ Василия Петровича вскрывает дополнительную чрезвычайно важную тенденцию Гаршина: рассказ направлен не только против прямого ренегатства интеллигенции, но и против примирительного отношения к фактам такого ренегатства со стороны другой части интеллигенции, хотя и субъективно честной, но нравственно дряблой и неустойчивой.

От „Встречи“ протягиваются нити и к „Художникам“ (1879 г.). Проблема „Встречи“ по существу сохранена и здесь, но связана и с другими, чрезвычайно существенными моментами. Здесь перед нами также представители двух групп интеллигенции: своекорыстной и народолюбивой. От того, что действие переносится в среду художников-живописцев, проблема по существу не меняется. Любопытно, что, сделав своих героев художниками, Гаршин сохранил все же для них и те профессиональные определения, которые он дал героям „Встречи“: один из художников—Дедов—в прошлом инженер, другой—Рябинин—в будущем учитель. Очевидно, что понятия инженера и учителя были для Гаршина не только обозначением профессиональной принадлежности, но и характеристикой социального и нравственного качества героев. Во всяком случае, в тот момент, к которому отнесено повествование, герои являются художниками, и поэтому противопоставление двух групп интеллигенции соединяется здесь с противопоставлением двух течений в искусстве.

Рябинин — несомненно народник, представитель „мужичьей полосы в искусстве“, сторонник реальных сюжетов: он „пишет лапти, онучи и полушубки“. Впрочем, эти „лапти“ следует понимать шире: „Смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека“, — говорит он о себе.

Искусство он рассматривает с точки зрения общественной полезности: он не признает нейтральных сюжетов; лучшую свою картину — глухаря — он пишет для того, чтобы несчастный глухарь „ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу“. „Ударь их в сердце, лиши их сна, стань

перед их глазами призраком. Убей их спокойствие, как ты убил мое...“

Искусство Рябинина преследует двойную цель: оно должно потрясти силой народнического протеста „все эти фрак и трэны“, в то же время оно адресуется сочувственному вниманию других: „Разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка останются со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них“.

Эти юноши и молодые девушки, разумеется, принадлежат к интеллигентам того же образа мыслей, что и сам Рябинин.

Образ Дедова построен как прямая противоположность Рябинину: он эстет, сторонник чистого искусства, рисует преимущественно картины безобидного содержания, он враг всякой „дисгармонии“ в искусстве и, конечно, не ставит перед собой никаких общественных задач. Искусство не волнует его, не лишает сна и покоя и не мешает заботиться о карьере и материальном преуспевании. В искусство он не переносит общественных противоречий, напротив, искусство для него та сфера, куда он от этих противоречий спасается.

Проблема чистого и прикладного искусства к 1879 г. уже не была новым вопросом для Гаршина. Все идеи Рябинина были им ранее высказаны от своего имени в художественно-критических статьях. В отзыве об одной картине В. Якоби, он сравнивает сюжет этой вещи с прежней картиной того же художника „Привал арестантов“, производившей потрясающее впечатление именно своей социальной правдой. Гаршин отдает предпочтение „Привалу арестантов“ и высказывает ряд упреков художнику, „который ухитрился так передать свои симпатии, свои стремления, свой внутренний склад“. ²⁶

В другой статье ²⁷ он очень едко иронизирует над одной маленькой и безобидной вещицей Ю. Клевера, изображающей зимний пейзаж. „Миленькая вещица модного живописца — ну чего же ее и не купить? И пишите, г. Клевер, ваши вещи так, чтобы они были „миленькие“. Пишите повкуснее, поярче, покрасивее, украшайте природу, как умеете. Делайте, словом, так, чтобы, останавливаясь перед вашей вещью, изящные барышни непременно произносили бы: „Ah! C'est joli!“.

В этой характеристике манеры Ю. Клевера нетрудно узнать художественные принципы гаршинского Дедова.

Гаршин-художественный критик требует социально-значимых тем для живописи. Поэтому он отдает предпочтение жанру перед пейзажем. Преобладание пейзажа он расценивает, как свидетельство бедности искусства, он хотел бы видеть на полотне „драматические моменты русской жизни“. Отсутствие таких картин он объясняет оторванностью художников, как и всей интеллигенции, от родной почвы.²⁸

Но даже и так называемые реальные сюжеты не удовлетворяли Гаршина, если они не были освещены серьезной общественной идеей. Он дал, например, резко-отрицательный отзыв об одной картине, изображавшей здорового, улыбающегося рабочего в кабаке.²⁹ Совершенно очевидно, что тема рабочего в кабаке не сочеталась в сознании Гаршина с здоровьем и довольством.

Иногда Гаршин бывал чрезвычайно щепетилен относительно идейной направленности даже отдельных художественных деталей. Так, он отметил в картине Айвазовского „Льдины на Неве“ мелкую, казалось бы, подробность: на одной из льдин был изображен огромный штоф, очевидно, забытый ледоколами. „Как обрадуются гг. Бланк, Лоде и прочие землевладельцы, полагающие причины всех зол в России в пьянстве и небрежности русского человека, видя эту картину знаменитого маэстро“, — восклицает Гаршин.³⁰

Нетрудно заметить, что художественные принципы Рябинина совпадают с взглядами Гаршина-критика живописи: их объединяет и требование социально-значимых тем и нелюбовь к пейзажу, и пренебрежение к „миленьким“ „гармоничным“ вещам, и отрицание безидейного натурализма, и отвращение к „украшенной природе“; наконец, и тот и другой видят залог успеха живописи в близости художника к народу, к родной почве.

Гаршин-Рябинин, подобно всем народникам, несомненно был сторонником искусства тенденциозного, публицистического социально-значимого. Нужно отметить, впрочем, что не только народники, но и многие либералы высказывались в пользу тенденциозного искусства. „Что такое беллетрист в смысле общественной деятельности? Он только популяризатор и гравер идей публицистики“, — писал внутренний обозреватель „Вестника Европы“.³¹

Народническая сущность Рябинина станет для нас ясной только тогда, когда мы присмотримся к тому, какие именно

идеи публицистики он популяризирует своим искусством. Мы уже выше говорили о том, что он хочет быть художником „трудящегося человека“. Больше того, в той картине, которая послужила причиной его внутреннего перелома, он показал рабочего-глухаря. Эту тему он разработал явно народнически. Глухарь должен был ужаснуть своим видом толпу, показать ей, что он — назревшая болезнь, растущая язва. Нечего и говорить о том, что подобная реакционная трактовка пролетариата чрезвычайно типична для народников и вполне вытекает из их непонимания путей общественного развития. Если мы припомним к содержанию статей по рабочему вопросу как в легальной, так и в подпольной народнической журналистике, то мы всюду увидим упор именно на тяжелое материальное положение пролетариата, на гибельные условия фабричного труда, на нищенскую заработную плату, но не больше. Стоит сравнить статьи о положении рабочих, помещавшиеся в „Земле и Воле“, со статьями на эту же тему, скажем, Я. Абрамова,³² чтобы убедиться, что в этом вопросе вся народническая журналистика, независимо от оттенков и различия мнений, была совершенно солидарна: пролетариат был для нее „назревшая болезнь“ и „растущая язва“ на теле русского народа. Разоблачая тяжкий гнет капиталистической эксплуатации рабочего, народники совершенно не видели в пролетариате самостоятельной социальной силы. Картина художника Рябинина, таким образом, вполне соответствовала народническим тенденциям.

В построении рассказа „Художники“ мы видим обычную пессимистическую коллизия: интеллигент сталкивается с вопиющим фактом общественной несправедливости, этот факт потрясает его, он переживает тяжелый нравственный кризис, который в данном случае разрешается возрождением, в противоположность „Происшествию“, где он закончился самоубийством героя. В высокой степени характерно это возрождение Рябинина: он оправляется от своего потрясения для того, чтобы поступить в учительскую семинарию и стать народным учителем. Совершенно очевидно, что и с этой стороны рассказ естественно входит в рамки народнической литературы, посвященной проблеме интеллигенции. По сравнению с „Происшествием“ Гаршин сделал в „Художниках“ значительный шаг вперед в разработке своей темы. Самый

факт общественной несправедливости, послуживший исходной точкой конфликта, здесь гораздо значительнее, чем в „Происшествии“ и, наконец, разрешение конфликта также более последовательное и определенное. В „Художниках“ Гаршин уже не ограничивается констатацией факта общественного противоречия и пассивным протестом против него (самоубийство), возрождение Рябинина указывает на необходимость борьбы; пути этой борьбы, правда, достаточно неопределенны, но все же они ведут „в народ“.

Аналогичное разрешение конфликта мы видим в рассказе „Ночь“. Эта вещь построена по той схеме пессимистического рассказа, которая была Гаршинным разработана в „Происшествии“ и „Художниках“. Напомним эту схему: столкновение с фактом общественной несправедливости, кризис, разрешение его. Здесь отсутствует первое звено схемы. Объясняется это иной характеристикой героя: его кризис наступил не в результате столкновения с каким-либо единичным возмущающим фактом. Пессимизм Алексея Петровича значительно глубже. Его не удовлетворяет вся его жизнь, основанная на эгоизме, на угождении себе и, что самое существенное, на отсутствии каких бы то ни было твердых убеждений. Гаршин на протяжении всего рассказа в самоизобличениях Алексея Петровича подчеркивает именно эту черту: безверие, ложь самому себе и другим, внутреннюю неуверенность в своих мнимых „убеждениях“. Алексей Петрович решает покончить самоубийством, но внезапно осенившее его сознание гибельности своего отщепенства, оторванности его страданий от реального горя и нужды больших человеческих масс спасает его от самоистребления.

Гаршин, таким образом, в этом рассказе, как бы сопоставил те два возможных разрешения кризиса, которые он наметил в „Происшествии“ и „Художниках“, а именно: самоубийство и возрождение в стремлении „итти туда, в это горе, взять на свою долю часть его“. Первый вариант поставил бы его в ряд с „Происшествием“, т. е. сделал бы его рассказом о самоубийстве, в какой-то степени свидетельствующем о переходе героя в „лагерь гонимых“. Второй вариант поставил бы рассказ в ряд с „Художниками“. Гаршин противопоставил в „Ночи“ эти два выхода, данных им в предыдущих рассказах, и сделал выбор в пользу второго, сблизив тем самым этот рассказ с „Художниками“.

Нужно отметить, что в рассказе чувствуется возможность и третьего выхода, именно самоубийства героя непосредственно после возрождения. Как ни мало мотивированным был бы подобный финал, но раз он был бы дан, рассказ неизбежно приобрел бы реакционный смысл: такой выход отрицал бы самую возможность возрождения, такая развязка уже не имела бы того протестующего смысла, который вкладывался в факты самоубийства народнической литературой. Неясность заключительных строк рассказа дала возможность некоторым критикам истолковать его именно таким образом, и Гаршину лично пришлось объяснить Михайловскому ошибочность подобного толкования.

Итак, этот третий вариант не входил в художественные расчеты Гаршина и не мог входить, потому что самоубийство рассматривается здесь как результат отчаяния честного интеллигента, осознавшего гибельность безверия, социального одиночества интеллигенции, отсутствия связи ее с „настоящим житейским горем“. Раз это социальное одиночество было героем преодолено, самоубийство уже делалось совершенно ненужным, лишним.

Гибельность социального одиночества — это исходный пункт рассказа. Основная проблема его сводится к выбору форм и путей выхода из этого социального одиночества: самоубийство рассматривается здесь, как эгоистическая форма выхода, а уход „туда“, в „общее горе“, т. е. в конечном счете — в народ — как исполнение общественного долга. Таков идейный итог этого произведения. Неудивительно, что редактор „Отечественных Записок“ Щедрин нашел его „весьма хорошим“.

Гаршинский идейный комплекс, связанный с проблемой интеллигенции, находит значительные соответствия в молодой беллетристике 70-х — 80-х гг. У плеяды молодых писателей, как М. Н. Альбов, К. С. Баранцевич, И. И. Ясинский и др., общественные и литературные взгляды которых оформились под влиянием народнической идеологии, мы встречаем такое же обостренное внимание к проблеме интеллигенции и в частности к вопросу интеллигентского пессимизма, как и у Гаршина. И это неудивительно: мы говорили уже о том, что проблема интеллигенции с середины 70-х гг. встала во весь рост, как одна из самых значительных и в публицистике и в беллетристике. Преимущественная разработка этой темы

является одним из существеннейших отличий молодых писателей 70 — 80-х гг. от писателей-народников старшего поколения. Тесное соприкосновение молодой беллетристики 70—80-х гг. с Гаршиным, очевидно, было совершенно неизбежно.

Среди писателей, разрабатывавших интересующую нас тему, первое место принадлежит М. Н. Альбову. Это был популярный писатель, может быть не менее популярный в свое время, чем Гаршин; проблемное родство многих его произведений с Гаршиным бросается в глаза: известна также симпатия, которую питал Гаршин к его творчеству. Наиболее выдающийся его рассказ „День итога“ (1879)³³ Гаршин отметил сочувственным отзывом в одном из своих писем, где он берет этот рассказ под свою защиту от нападок Буренина.³⁴ И в самом деле, Альбов в „Дне итога“ чрезвычайно близко подходит к кругу вопросов и тематике Гаршина. Герой этого рассказа молодой человек Глазков кончает самоубийством. Повесть описывает его последний день — день итога. Здесь много воспоминаний, бреда, разговоров с самим собою, нервозности, самоанализа в духе Достоевского. Глазков осознает себя, как человека с неимоверно раздутым самолюбием, в нем сочетаются стремления орла с силами божьей коровки. Он находит наслаждение в напряженном самоанализе, в отыскивании у себя самых дурных мелких страстей и побуждений: он одинок, замкнут, ушел в свою раковину.

„А жизнь кипит вокруг, снуют и толкутся в погоне за целями все эти лица, над которыми ты себя возносил. Все так ничтожно, за чем они гонятся, но они все-таки растут, живут, достигают искомого и счастливы своими победами. Прочь, прочь от них, ты все-таки будешь стоять одиноким.

„...И вот сходки, речи, мировые вопросы, энтузиазм молодого честного чувства. Ты тоже ходишь, слушаешь, сам говоришь. И, боже, как в это время ты жестоко страдаешь. Ты чувствуешь, что делаешь себе только пытку, желая слиться с общим движением, что сознание необходимости идти вперед вместе со всеми пришло слишком поздно, что хотя ты и молод, но огня в тебе нет: он потух уже давно, служа на поддержку прошлых самолюбивых мечтаний“.

Итак, Глазков не примкнул к общему движению потому, что у него не хватило „огня“. Теперь он понял это и с сожалением вспоминает то „глупое, но хорошее время“, когда он

вместе с другими вел разговоры „о средствах обновления общества, о борьбе против пошлости, о деспотизме“.

Помешало ему примкнуть к этому движению и болезненное самолюбие. Он всегда должен был себя чувствовать выше других. Именно поэтому он одинок и несчастен. Глазкову, разумеется, не удастся и личное счастье. Так, влюбившись в Варю Охотскую и узнав, что и он любим ею, Глазков все же никак не может посвататься к ней: какая-то смесь гордости, самолюбия, застенчивости, нерешительности мешает ему это сделать, и Варенька выходит за другого. Иногда ему кажется, что „во всех этих случаях он только бессознательно, слепо покорялся какой-то неведомой, непонятной, от него независимой силе, которая вела и теперь ведет его неуклонно к одной для него в свое время невидимой цели...“

Эта цель — очевидно, уход из жизни, обрыв ее, что и делает разочаровавшийся Глазков. Он погибает потому, что не сумел примкнуть к революционному движению, несмотря на внутреннее тяготение к нему. Все дело в том, что гипертрофия „самолюбийшика“ при отсутствии силы и „огня“ не позволила ему ни примкнуть к „общему движению“ ни добиться личного счастья.

Таким образом разочарование и самоубийство Глазкова отнюдь не означает у Альбова переоценки революционной практики, „общего движения“, как это называется здесь. Напротив, разрушительной переоценке здесь подвергнуты эгоизм Глазкова, его замкнутость, самоизоляция от общего движения. Самоубийство Глазкова являлось, таким образом, выражением настойчивого стремления хоть к какому-нибудь выходу из состояния социального одиночества. В таком понимании самоубийства, несомненно, была уже заложена возможность его осуждения.

Образ Глазкова находится в прямом родстве с гаршинским Алексеем Петровичем из рассказа „Ночь“: их объединяет и разочарованность и „самолюбийшко“, и социальное одиночество. Даже самое построение обоих рассказов почти одинаковое: и там и здесь взят момент кризиса, один день, день итога. Но в способе разрешения этого кризиса мы видим у Альбова тот вариант (самоубийство), который был превзойден и отвергнут Гаршиным. Альбов ограничился показом гибельности социального одиночества, Гаршин наметил путь активного выхода из него.

Таким образом в разработке общей темы Гаршин стоит на высшей по сравнению с Альбовым ступени.³⁵

Образ Глазкова это устойчивый образ Альбова. Очевидно, он занимал его еще до знаменитого „Дня итога“. Так, в 1876 г. Альбов пишет незаконченный очерк „Осенним вечером“,³⁶ где также выводит интеллигентного молодого человека Чемерицына, участника пустенького кружка петербургской богемы. Подобно Глазкову, он также чувствует себя одиноким, ничем не связанным с той средой, в которой он находится. Это также изнервничавшийся, издерганный человек. „О, сколько раз вот точно так, как и теперь, лежал он, томимый бессонницей, перебирая в своей голове впечатления дня, переживая себя самого, со своими речами и действиями, со всеми своими фальшью, враньем и кривлянием“.

Рассказ остался незаконченным, дальнейшая судьба Чемерицына нам неизвестна. Автор покидает его в тот момент, когда Чемерицын оставляет кружок и собирается вступить в какую-то новую полосу жизни. Но родство этого образа с Глазковым несомненно; очевидно, образ Глазкова и является завершением этого первоначального наброска.

Этот же образ Альбов воскрешает много лет спустя после „Дня итога“. К 1887 г. относится его большая повесть „Как горели дрова“,³⁷ в которой он вновь поднимает тему разочарования и самоубийства.

Одинокий, терзаемый внутренней пустотой и скукой человек, решает обновить жизнь соединением с простой, очень милой и красивой девушкой. Он собирается ехать к невесте, но, перебрав в памяти свое прошлое, приходит к выводу, что не годен к „муравьиному счастью“ и стреляется. В прошлом у него бурная жизнь, полная любовных приключений, но, как видно, не лишенная и общественных настроений. Об этом говорит полученное много лет тому назад „письмо издалека“ (очевидно, с места ссылки), на которое он случайно наталкивается в „ночь итога“. Строки этого письма звучат для него суровым укором:

„Да не будут тебе эти слова гласом, вопиющим в пустыне,— пишет ему друг. Дело не в крупных силах, не в подвигах. Мы все строители одного великого здания и несем каждый свой камень для общего дела. Пусть мы не увидим конца нашей работы, пусть многие из нас упадут при начале, изнемогшие

и раздавленные, — наши места заступят другие и здание будет окончено. Верь в себя, веруй в дело и не давайся в обман людской пошлости и своему эгоизму, и если захочешь, то сделаешь, потому что, кто захочет, тот может“.

Друг убеждает его верить и не поддаваться эгоизму, и этим намечает те черты духовного облика своего корреспондента, которые помешали ему примкнуть к революционному движению. Это — безверие и эгоизм, т. е. те черты, которые отмечали Гаршин в „Ночи“ и сам Альбов в „Дне итога“. И за эти свойства герой расплачивается жизнью. Концепция здесь почти та же, что и в „Дне итога“, и также разительно сходство с гаршинской „Ночью“ даже в сюжетном отношении. У Гаршина, как и у Альбова, разочаровавшийся интеллигент решает покончить самоубийством и ночью подводит итоги прожитой жизни. И опять-таки отличие в идейном замысле: у Гаршина герой решает покончить самоубийством, но приходит к выводу о необходимости жить и служить „общему горю“, у Альбова герой намеревается начать новую жизнь и в ночь кризиса приходит к выводу о необходимости самоубийства.

Таким образом, даже по сравнению с этим поздним рассказом Альбова гаршинская „Ночь“, стоит все же на более высокой ступени, до которой Альбов не дошел на протяжении всей своей литературной работы над этой проблемой.

В ряд с рассказами Гаршина мы можем поставить только „Ночь“ Иеронима Ясинского.³⁸ Этот рассказ появился в 1880 г., т. е. в ту пору, когда Ясинский стоял еще на левых позициях тогдашней литературы и был постоянным сотрудником радикальных журналов. Рассказ И. Ясинского находится и в идейном и в сюжетном родстве с гаршинской „Ночью“; сходство дошло даже до совпадения заглавий, и, не появившись эти рассказы в одно время (их отделяет несколько дней), мы могли бы говорить о факте влияния или даже заимствования. На деле этого нет, и такое совпадение для нас еще интереснее, так как оно прекрасно подчеркивает закономерность появления произведений с подобной идейной направленностью и, соответственно, с аналогичным сюжетным оформлением.

Рассказ Ясинского значительно уступает гаршинскому в психологической разработке. Сущность кризиса, переживаемого героем Ясинского, выяснена далеко не с той полно-

той, как у Гаршина, менее подчеркнут момент социального одиночества, безверия и эгоизма, но разрешение кризиса то же самое. Решив покончить самоубийством, молодой интеллигент Ясинского чувствует, как в нем прорывается жажда жизни, воспоминания посещают его, он мысленно проникает за черту ненавистного ему города и видит огромную родину, огромное живое тело народа.

„Вид этого полудикого, темного, исполинского существа, тоскливо размышляющего о куске хлеба, воскресил в его груди потухавшее пламя...”

„И он чувствовал, как его кровь теплела, как сердце билось в такт с миллионами других сердец, как нервы словно сплетались с нервами всех, как он становился атомом огромного целого, ничтожной частью общественного организма...”

Герой рассказа Ясинского принадлежит к какому-то революционному кружку. Об этом говорится вскользь, намеками. Когда в нем просыпается жажда жизни, он вначале считает это проявлением малодушия. Он вспоминает какую-то Сашеньку, тоже, как видно, покончившую самоубийством, однако, совсем при других обстоятельствах, — очевидно, в тюрьме или на каторге.

„— Да, да, бедная Сашенька... святая... — возбужденно говорил молодой человек, — ты там покончила с собой, а не здесь... Там — другое дело... Там — гроб. А здесь — кто же имеет право? Ведь ни у кого нет своей жизни... Покамест, ни у кого. Только эгоисты убивают себя, только трусы...”

Решив остаться жить, молодой человек пишет письмо „своим“. Из этого письма автор приводит одну только строчку:

„Понял, наконец, что иначе нельзя... опять ваш“.

Итак, у Ясинского — попытка к самоубийству, это — временное колебание революционно настроенного интеллигента, — результат неправильно понятого долга. Преодоление подобных настроений Ясинский, подобно Гаршину, оценивает, как выполнение подлинного долга перед народом, как выражение социального альтруизма.

У Ясинского это единственный рассказ, непосредственно примыкающий к интересующему нас проблемно-тематическому комплексу и для его творчества не особенно характерный. Остаются Гаршин и Альбов; они оба пришли к осуждению бездейственного пессимистического отрицания, причем Гаршин

дошел до той ступени в разработке общей темы, на которую Альбов не поднялся.

Принципиально иную группу пессимистических произведений образуют такие повести и рассказы, где объектом переоценки становится не безверие героя, не его нежелание или неумение примкнуть к революционному движению, а его революционное прошлое. Героем этих повестей является разочаровавшийся революционер и соответственно этому схема пессимистического рассказа наполняется совершенно иным идейным содержанием: кризис мотивируется неудовлетворенностью героя революционным движением, а возрождение (если это звено имеется) трактуется, как идейный, психологический и фактический отход от революционной деятельности и революционных учений. Такие рассказы носили явно реакционный характер, являясь художественным оправданием ренегатства.

Ярким представителем этой группы является Ю. Говоруха-Отрок, в начале 70-х гг. участвовавший в революционном движении, а затем с конца 70-х гг. и начала 80-х гг. эволюционировавший вправо и перешедший затем окончательно в реакционный лагерь. Ренегатство Ю. Говорухи-Отрока отразилось в беллетристических произведениях еще раньше, чем в публицистических. Наиболее характерным образцом этого типа беллетристических произведений является его „Эпизод из неоконченного романа“ (1880 г.).³⁹

Герой повести — Вязнов — молодой человек помещичьего, очевидно, происхождения, человек крайних взглядов, примыкает к какому-то революционному кружку. Но революционность свою он несет как тяжелый крест, как большое страдание. Его революционные потуги проявляются в форме какой-то неестественной нервозности, кривлянья, судорожности, неприятных ему самому.

В прошлом Вязнов много читал о Париже, о Коммуне, ездил за границу, в Германию, „чтобы найти, где люди умирают“. „На это способен только русский «нигилизированный барчук», так говорит впоследствии об этом периоде своей жизни уже „отрезвившийся“ герой.

Возвратившись, он „улегся в своем углу, читал малоопытные книжки, ходил к разным нигилизированным барышням и неимоверно кривлялся и хлестаковствовал“.

Словом, читатель чувствует, что „революционность“ Вязнова есть нечто чуждое, наносное, совершенно несвойственное ему. Об этом говорит Вязнову его умница и красавица жена — Ольга Львовна, прекрасно понимающая своего мужа. Она ставит его выше других его приятелей.

„Ты несчастный. Да, несчастный, — с силою проговорила она. Самолюбьишко, претензия, мелочность... это правда, это все есть, есть у тебя... Да есть, Евгений... Но у тебя еще есть то, чего нет у других... У тебя есть искренность, ужасная искренность — искренность во лжи... Ты хочешь веры, ты хочешь бога... И ты не знаешь его, ты ищешь его, ты во что бы то ни стало хочешь его. И вот ты создаешь внутри себя ложь, обусловленную ложь, всем обусловленную: и самолюбьишком, и претензией, и нервозностью... сам создаешь этого идола, своими руками, и веришь в него, в этого созданного бога, в эту ложь... Вот почему ты несчастный...“

Дальнейшее развитие повести должно, по мысли автора, оправдать эти слова Ольги Львовны: и то, что идол Вязнова — ложь, и то, что сам Евгений лучше других своих приятелей.

Вязнов расстается с женой и уезжает в Москву.

Он чувствует непреодолимое желание изменить свою жизнь, уйти от пустоты и одиночества, что-то начинает проясняться в нем, но неожиданный арест прерывает процесс начавшегося перерождения.

Этот процесс с новой силой возобновился в тюрьме. Толчком к перерождению послужило чтение истории Соловьева. „Он не знал, что есть другие люди, другие взгляды... т. е. он не хотел знать...“ Вязнов переживает сильнейший нравственный кризис, приводящий его к покушению на самоубийство и разрешающийся нервной горячкой.

Дело заканчивается тем, что он окончательно отрешается от революционных „иллюзий“ молодости.

Внешне эта повесть очень близко напоминает рассказы первой группы: нервозность, кривлянье, ложь, рефлексирование Вязнова мы видели уже у героев Гаршина и Альбова. Но в то время, как у Гаршина и Альбова эти черты мешают их героям примкнуть к общественному движению, у Говорухи-Отрока они именно и объясняются тем, что герой попал в такую среду, учение которой, по мысли автора, живо и

противоестественно, и этой средой является среда революционеров, изображенных здесь, как нигилизированные и хлестаковствующие барчуки.

Возрождение, скажем, гаршинского Рябинина привело его к тому именно народническому движению, от которого стремится уйти вправо герой Говорухи-Отрока. Реакционный, ренегатский смысл этой повести, таким образом, совершенно очевиден.

Другие его произведения повторяют ту же тему, тот же центральный образ и ту же тенденцию.

Возьмем для примера его рассказ „Развязка“ (1882 г.).⁴⁰

Герой рассказа, Максим Николаевич Порошин, — „по званию — дворянин, по воспитанию — бывший медицинский студент, по социальному положению — когда-то, где-то и в чем-то замешанный, претерпевший таки довольно много, праздношатающийся человек и, наконец, по внутреннему содержанию — „сын больной большого века“. „Широкая натура без особой гениальности — препагубная вещь, заметил кто-то; а Максим Николаевич именно и обладал такой широкой натурой“.

„Кто же мог подумать, что он, Максим Николаевич Порошин, очень недавно лишь «возвращенный»... кто мог подумать, что он „ретроград“. Впрочем, автор считает, что ретроградом его можно назвать только на языке либерального салона; мелкие люди салона называли бы его так, если бы знали, что „сидя здесь, он совершенно безучастно, разве лишь с усталой иронией, относится ко всем «ликованиям» и «ожиданиям», ко всем «отрицаниям»“.

Порошин одинок.

„Такое одиночество не страшно для людей, у которых есть за что уцепиться внутри себя, есть заветная вера, есть заветные убеждения. Но такие люди вообще редки, и Максим Николаевич не принадлежал к их числу“.

Прежние его убеждения — „были убеждения и взгляды лучших представителей русской образованности — но все это было не то. Все это было чисто рассудочное, холодное, мертвое, не то, чем можно было жить, дышать...“ Теперь он твердо уверен в том, что „из всех глупых басен самая глупая, что сытый скот лучше голодного... Нет того, во имя чего можно крикнуть: «Да здравствует разрушение»“.

Порошин готов бы „примириться“ с жизнью, но издерганная и больная натура его уже не в состоянии вступить на

этот путь. Ему остается только умереть. Впрочем, он не хочет „сдохнуть“ где попало, а он хочет умерет со свечами, с попами, с ладаном.

Его желание сбылось. Он стреляется и умирает, причастившись.

„Против всех грешен, — говорил Порошин с горькой улыбкой, — богов у меня было много, и кумиров себе создавал и жену ближнего желал“.

Причастивший его священник отпускает ему грехи. „В раю будет“, говорит он об этом раскаявшемся грешнике.

Идейное родство образов Порошина и Вязнова несомненно. Разница лишь в том, что здесь нет процесса отрезвления, герой „отрезвился“ еще до начала рассказа: в самый момент появления перед читателем он уже не хочет больше работать на „голодного скота“.

Сходные тенденции имеет и другой рассказ того же автора „Fatum“. ⁴¹ В нем опять в качестве положительного героя фигурирует бывший революционер и даже важный государственный преступник, также разочарованный и не верящий в свое дело. ⁴²

Этот тип „пессимистического“ рассказа, содержанием которого был отказ от революционной борьбы, получил распространение не только в откровенно-реакционном литературном лагере. В конце 70-х гг. внутри народничества наметилась значительная новая группа, открыто выступившая против относительно прогрессивных устремлений народнической деятельности. Взамен политической борьбы эта группа выдвинула лозунг „культурной работы“, самый факт борьбы с абсолютизмом объявлялся насилием над народными взглядами, стремлением навязать народу интеллигентские требования. Идеология правого народничества, которая обычно именуется „теорией малых дел“ проводилась преимущественно журналом „Неделя“. Главнейшими теоретиками этого направления были Юзов-Каблиц и Я. Абрамов. „Неделя“ боролась не только с радикальным народничеством, но и либерально-буржуазная оппозиция представлялась ей слишком смелой. Во всяком случае, этот журнал отказывался поддерживать даже такие умеренные требования, как, например, ослабление цензурного гнета.

„Как ни прискорбны, вообще, ограничения свободы печати, — писала „Неделя“, — но в настоящее время в них можно найти и полезную сторону. Они именно должны побудить нашу

печатать обратить больше внимания на ее культурную миссию... Что касается в частности „Недели“, то она никогда не стремилась играть активной политической роли, ставя на первый план разработку тех основных культурных задач русской жизни, которые не зависят ни от каких режимов, а напротив, сами, в конце концов, управляют ими“. ⁴³

Нужно отметить, что политическая программа „Недели“ в различных видах и формах проникала на страницы и других народнических органов. Например, народнический журнал „Устой“, руководимый С. Венгеровым и просуществовавший всего только один (1882-й) год, несомненно был затронут этой же оппортунистической струей.

Свойственные этой группе настроения разочарования в политической борьбе, отказа от нее, также составляли идеологическую базу для появления „пессимистических“ рассказов говорухинского типа. Аналогичные произведения этой группы, правда, не имели столь ярко выраженного реакционного характера, как рассказы Говорухи-Отрока, но, по своим тенденциям, все же более или менее приближались к ним.

В качестве образца правонароднического варианта „пессимистического“ рассказа мы рассмотрим известную повесть К. Баранцевича „Чужак“ и менее известный рассказ Я. Абрамова „Гамлеты — пара на грош“. ⁴⁴

И в том и в другом произведении мы имеем дело с разочаровавшимися народниками. Герой повести Баранцевича Александр Ильич Радунцев, как видно, принадлежал даже к народоувольцам.

„Все громче и громче раздавались голоса, превозносившие „черноземную силу“, в литературе заговорил разночинец и учащаяся молодежь, первая, примкнув к движению, образовала среди себя многочисленную партию народников, превратившуюся много лет спустя в другую, с более определенной, более резкой программой... Радунцев принадлежал к этой партии...“

Но приведя своего героя в деревню, автор заставляет его на практике убедиться в том, что он, Радунцев, чужак для народа. В этом причина его глубокой тоски, нервозности и тягостного разочарования. Другое дело его друг Резцов. Это тоже народник, но совсем другого типа: он прочно осел в деревне, сжился с мужиками и стал мельником-аренда-

тором. От своих прежних намерений *учить* народ он отказался, как от детской забавы. И он то уж, конечно, в противоположность своему другу, не знает рефлексии, гнетущего пессимизма, разочарования. Он легко и бодро справляется со всякими ударами судьбы.

Итак, по замыслу автора, из двух типов народников, одного, думавшего *поучать* народ, т. е. принадлежавшего, как видно, к революционному крылу, и другого, ограничившегося „малыми делами“ в духе „Недели“, наиболее жизнеспособным, стойким и живым оказывается именно второй тип.

И здесь, таким образом, мы видим беллетристическое отражение отхода от революции только не в лагерь откровенной реакции, как у Говорухи-Отрока, а к правому крылу народничества типа „Недели“.

Те же тенденции мы обнаружим и в рассказе Я. Абрамова.

Герой рассказа — молодой человек, который только и делает, что лежит на боку. В 24 года он уже старик, он отжил свой век и думает о смерти.

В свое время он работал в деревне сельским учителем. Но столкнувшись с фактами самой вопиющей нужды и нищеты, с одной стороны, и самой вопиющей эксплуатации, с другой, абрамовский герой бежит из деревни и отправляется „за указкой“ к петербургским „проповедникам“.

„Но я слишком увлекающийся человек и потому увлекался по очереди системами всех проповедников. И как знать, оставишь я на какой-нибудь из этих систем и действуй в ее духе, я не только был бы счастлив, но и, быть может, прославился бы“, — иронически говорит рассказчик.

Но по мысли автора, он оказался выше всех систем; он видел на каждом шагу в реальной жизни противоречия, не уместившиеся в рамки никакой системы. Такие факты, как проституция, нищенство, заставили его уйти от всех „проповедников“.

Любопытно, что автор сталкивает своего героя и с марксистами, причем этот эпизод он разрабатывает вполне в духе той клеветнической кампании против революционного марксизма, которую народники особенно энергично развернули десятилетием позднее, в 90-х гг. „Последовательные марксисты“, оказывается, пригласили абрамовского гамлетика „работать для скорейшего приведения человечества в состоя-

ние пролетариата, скорейшего закабаления и разорения народа“. „Эта встреча была моим последним приключением. С тех пор я лег. Лежу и слушаю канареек“.

И в этом рассказе, как мы видим, народничество выступает совершенно явно и открыто, без всякой маскировки своих взглядов, как злейший враг марксизма.

В рассказе Я. Абрамова показан и другой вид пессимизма, который отвергнут автором. Один из тех „проповедников“ (притом крайний), к которому наш герой обратился за ответом, на вопрос, как примирить с его системой факт нищенства, обрушивается на нашего героя за его стремление найти разрешение мучающей его проблемы в мелкой благотворительности.

„Единственный результат вашей благотворительности тот, что вы успокаиваете самого себя, свою совесть. Результат очень печальный; и заведомые грабители тоже успокаивают свою совесть грошовыми добрыми делами. Нет, не вдавайтесь в этот самообман. Мучайтесь, страдайте, терзайтесь — это полезно. Ваши страдания дадут вам возможность составить хоть некоторое представление о страданиях народа, и, выстрадавши понимание народа, его горя, его нужд, вы сделаетесь полезным членом общества, вы станете нужным и полезным народу...“

Это другой вид пессимизма — пессимизм протестующий, в духе гаршинского Рябинина, тот пессимизм, который приводит тоскующего и терзающегося интеллигента „в народ“, но Абрамов его именно и развенчивает.

На фоне этого ренегатского и ренегатствующего крыла литературы еще яснее проявляется объективное значение рассказов Гаршина об интеллигенции. Гаршин явился в этих рассказах выразителем тех настроений мелкобуржуазной интеллигенции, которые знаменовали переход от обывательской беспечности от эгоистической замкнутости в ее буржуазно-хищническом („Встреча“) и буржуазно-эстетствующем („Художники“) проявлении, от безверия и безидейности к активному сочувствию народу, мужику, его тяжелому положению, его настоящему, реальному, а не придуманному горю. Рассказы Гаршина об интеллигенции не только не носили реакционного характера, но напротив — они звучали, как протест против тех форм общественного строя, которые породили и пессимистические на-

строения интеллигенции и угнетенное положение народа. Его рассказы были, таким образом, одним из элементов той борьбы с самодержавным и бюрократическим строем, которую вел в литературе легальный отряд радикального народничества.

Но кроме охарактеризованных образов интеллигентов, просыпающихся и переходящих через полосу отчаяния и пессимизма к народническим взглядам и идеям, мы имеем у Гаршина и образы активных борцов. Я имею в виду два его рассказа: „Attalea princeps“ (1880) и „Красный цветок“ (1883).

И в том и в другом рассказе эти образы даны в аллегорической форме, очень прозрачно, впрочем показывающей их истинный смысл и характер. Русская литература тех лет по цензурным условиям уже успела достаточно привыкнуть к аллегориям и иносказаниям для того, чтобы воспринять эти образы, как должно. Во всяком случае, аллегорическая форма литературных произведений в 70-х—80-х гг. воспринималась не как средство уклониться от жгучих вопросов современности, а, напротив, как единственно доступный способ эти вопросы поставить. Забегая несколько вперед, приведем свидетельство одного из критиков Гаршина, показывающее именно такое понимание выбора им аллегорической формы повествования.

Критик говорит о силе лиризма, свойственной Гаршину, и в качестве примера приводит отрывок из „Художников“, дающий образ рабочего.

„Без сомнения, — продолжает он далее, — условия нашей печати далеко неблагоприятны к проявлениям такого лиризма. Этим и объясняется, что писатель, обладающий подобною силой, частенько принужден бывает обращаться к первобытным формам творчества и обнаруживает свою мощь в свободной игре сравнениями и аллегорией“. ⁴⁵

Внимательное чтение „Attalea princeps“ показывает, что аллегорическая форма выражения действительно отнюдь не убивала политической остроты произведения. Описание оранжереи, где томятся „заключенные растения“, листья которых систематически обрезают, чтобы они „не могли расти, куда хотят“, несомненно представляло очень прозрачное олицетворение политических условий России. Ученый директор, управляющий оранжереей, не терпит никакого беспорядка, но его порядок не нужен растениям. „Для растений нужен был широ-

кий простор, родной край и свобода". Аллегория Гаршина принимает здесь очень определенный характер протеста, который в переводе на политический язык не мог означать ничего иного, кроме протеста против самодержавных порядков.

Что касается самого образа Attalea, то, разумеется, он не мог быть истолкован иначе, как образ бесстрашного и мужественного, но одинокого борца за свободу. Нужно отметить, что одиночество гордой пальмы здесь объясняется не какими-либо внутренними психологическими мотивами, а тем рабским смирением и готовностью мириться с неволей, которые обнаруживает окружающая пальму среда. Создав образ героического одинокого борца за свободу, Гаршин возвысился до подлинного апофеоза революционной борьбы. Субъективного сочувствия автора к своей героине не отрицали даже те современные Гаршину критики, которые жестоко обрушились на него за недоуменный конец рассказа.

Образы активных революционеров по вполне понятным причинам были очень редки в народнической литературе 70-х—80-х гг. и если появлялись, то на периферии произведения: ощутительные нити связывают какого-либо героя с арестованным или даже казненным революционером. Самое упоминание о них служило дополнением к изображению аналогичных настроений в среде легального общества. Эти, если можно так выразиться, закулисные образы напоминали читателям о том, что живет и действует революционное подполье.

Так, ранний рассказ И. Ясинского „На чистоту“ (1879) построен именно таким образом. Ведутся разговоры о каком-то умершем (очевидно, казненном) революционере, который завещал большое состояние не своему прямому наследнику, а постороннему для него человеку, фигурирующему в рассказе в качестве „заместителя“ отсутствующего настоящего героя. Как оказывается, состояние завещано не лично ему, а „на дело“.⁴⁶

На этом же образе отсутствующего героя построен другой рассказ И. Ясинского „Подруги“ (1880). Одна из подруг переживает горе „разбитого сердца“: ее покинул любовник. Другая потеряла мужа, но потеряла по-иному. „Сколько слез, стонов, безвестных, замерших где-нибудь в каменных гробах, ледяных тундрах и сколько пресеченных жизней...“ „Знакомые лица, с суровым взглядом застывших глаз, бледные,

измученные, пронесли толпой перед нею... Он, ее милый муж, был в этой толпе..." Вот кто, оказывается, истинный герой рассказа.⁴⁷

В большой повести М. А. Веницкой „Перед рассветом“ (1881) разворачивается история перерождения одной молодой девушки из наивной провинциальной институтки в сознательного противника существующего строя, и в этом процессе формирования героини повести немалую роль играют размышления ее об отсутствующем брате, которого арестовали еще до ее приезда в Петербург.⁴⁸

На фоне этих туманных, по необходимости, контуров, гаршинская пальма возвышается, как очень значительный революционный образ. Используя прием аллегории, Гаршин сумел рассказать историю борьбы, победы и трагического конца своей свободолюбивой героини.

Однако гаршинская пальма не удовлетворена результатами своей победы: она совершила подвиг освободительной борьбы, разбив стекла и железные рамы темницы. Но оказалось, что кроме темницы существуют еще другие условия, далеко выходящие за пределы тюрьмы и мешающие полному счастью мира. Гаршин давно пришел к этой мысли. Еще в юношеском стихотворном наброске истории мятежной пальмы он такими же чертами рисует ее неудовлетворенность:

И жажда свободы его утолилась.
Он видит небесный простор,
И солнце ласкает (холодное солнце)
Его изумрудный убор.
Средь чуждой природы, средь странных собратий,
Средь сосен, берез и елей,
Он грустно поникнул, как будто бы вспомнил
О небе отчизны своей;
Отчизны, где вечно природа ликует,
Где теплые реки текут,
Где нет ни стекла, ни решеток железных,
Где пальмы на воле растут.

Итак, для Гаршина, как и для его героини, недостаточно уничтожения тюремных оков и железных решеток политического устройства; ему нужно голубое небо и вечное ликование всеобщего счастья.

Таков смысл горького восклицания: „только-то!“, которым встретила мятежная пальма серый и унылый мир, открывшийся

за железными решётками ее тюрьмы. В этом пессимистическом возгласе неудовлетворения сказалась страстная мечта Гаршина об окончательной гармонии всего строя жизни человечества. Но в то время, когда появилась „Attalea princeps“ и это „только-то“ было еще недостижимым стремлением, неосуществленной задачей. Неудовлетворенность победившей героини могла расхолаживающе подействовать на тех, кто в упорной и долгой борьбе еще только готовил эту победу. Вот отчего Гаршину пришлось выслушать немало резких нареканий от его друзей и союзников за туманность и недосказанность финала его замечательной сказки. Мы не говорим уже о враждебных нападках его литературных противников. Но остро восприняв вину писателя, современники не могли в пылу борьбы отдать должное его заслуге. А между тем Гаршин сделал немало: он сумел создать величественный символ борьбы за свободу и стремления к окончательной победе, к ничем не омраченному счастью человечества.

Такова же функция „Красного цветка“. Здесь мы также имеем дело с аллегорией: герой рассказа — безумец, томящийся в темнице — сумасшедшем доме. Его идея — полное и окончательное искоренение мирового зла. Подобно Attalea он также не примирится на малом: нужно разом уничтожить причину невинной крови и слез человечества, тогда темницы сами рухнут, все заключенные выйдут на свободу, „и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте“. За осуществление этой идеи гаршинский безумец отдает свою жизнь и в этом находит высшее счастье.

Революционный смысл этой аллегории вне всяких сомнений.

Образ человека, доведенного до сумасшествия столкновением с фактами общественного зла, был уже подготовлен и творчеством Гаршина и современной ему литературой. Вспомним, что и Рябинин, написав своего глухаря, заболел тяжелой нервной болезнью и также очутился в больнице. Характер его болезни безусловно родственен благородному недугу героя „Красного цветка“.

Безумие гаршинских героев и в том и в другом произведении носит протестующий характер. Это „безумие“ людей, не мирящихся с несправедливостью общественного устрой-

ства. В одном случае — это капиталистическая эксплуатация рабочего, в другом — более широко — вся совокупность „мирового зла“, но сущность „болезней“ от этого не меняется.

В запрещенном цензурой романе Д. Л. Мордовцева „Знамения времени“ (1869) задолго до гаршинского рассказа был дан образ помешанного, несомненно родственный гаршинскому. Автор предисловия к советскому изданию „Знамений времени“ А. Мартынов, сравнивая роман Мордовцева с „Что делать“ Чернышевского, пишет: „Вещим снам Веры Павловны, например, в романе Мордовцева соответствует бред Мити Канадеева, который с ума сошел на почве „мировой скорби“, под впечатлением виденной им смертной казни, и бредовые идеи которого, по замыслу автора, граничат с ясновидением гения“.⁴⁹

Эту же формулировку, почти без изменения, можно отнести и к больному Гаршина.

Мотив нервного расстройства героя (родственный по функции мотиву самоубийства) был широко распространен и в молодой беллетристике 70-х—80-х гг. В нервной горячке был отправлен в больницу Глазков из „Дня итога“ Альбова, та же участь постигла после одного из жизненных ударов героиню упоминавшейся уже повести Виницкой „Перед рассветом“, аналогичный эпизод есть в рассказе К. Баранцевича „Мятель“. Число подобных примеров можно было бы увеличить, но нигде эти эпизоды не достигают ни гаршинской силы, ни гаршинской идейной окраски. Нервные потрясения переживаются героями современных Гаршину произведений преимущественно под влиянием личных неудач и несчастий, мотив „мировой скорби“, борьбы с мировым злом, характерный для гаршинского „безумца“, отсутствует здесь. А именно эти черты и придают протестующий смысл гаршинскому образу. Понятия „мировой скорби“ Weltschmerz'a были очень популярны в 70-х—80-х гг., и употреблялись они именно как синонимическое обозначение революционных настроений.

Например, С. Венгеров, проповедывавший в 70-х гг. необходимость отхода от „революционных мечтаний“ предшествующего десятилетия, так формулирует новые задачи литературы:

„В прежнее время печать имела одно только воспитывающее значение и то для небольшого числа людей, главным

образом, страдавших разными гамлетовскими и фаустовскими Weltschmerz'ами, теперь же она приобретает иную силу, с каждым годом возрастающую. Не гоняясь за мировыми вопросами, она занимается весьма усердно вопросами частными, практическими, обуславливаемыми житейской действительностью".⁵⁰

Противопоставление Weltschmerz'a, мировых вопросов — вопросам частным, практическим совершенно прозрачно заменяет здесь противопоставление революционной теории — либерализму во всех его проявлениях.

В другой своей статье он употребляет этот термин в том же смысле:

„Твердое решение стать на одинаковую ступень со всеми другими народами, составляющими семью культурных наций... жить не через пень-колоду одним голым отрицанием или мечтательным романтизмом... вдохнуть в литературу, в науку, если и не грандиозные, то зато прочные понятия и идеи... не задаваясь никаким Weltschmerz'ом, настойчиво преследовать наиболее удобоисполнимые цели... — вот что составляет сущность семидесятых годов".⁵¹

И здесь также — стремление „к удобоисполнимым целям“, к вступлению в семью других культурных наций — синонимы либерализма; Weltschmerz, грандиозные идеи, голое отрицание — синонимы революционности.

То же значение имели понятия „мировой скорби“ и для реакционной литературы; Ю. Н. Говоруха-Отрок заявил устами одного из своих смирившихся героев, что „все это сентиментальное хныканье на подкладке мировой скорби ему до смерти надоело“. Незлобин-Дьяков также посвятил один из своих антиреволюционных пасквилей типу Weltschmerz'a. Рассказ так и называется „Weltschmerz“ (1877) и героем его, понятно, является революционер, раздраженный обличитель, угрюмый, злобный, вечно недовольный. Приехав на родину из Германии, где он вращался в среде русских эмигрантов и европейских социалистов, он подбивает мужиков на бунт, после чего сам скрывается за границу, соблазнив перед этим (как это и полагается в рассказах такого типа) собственную двоюродную сестру.⁵²

Мы видим, что образ человека, больного „мировой скорбью“, не воспринимался иначе, как образ революционера, и видим

также, какой отпор встречал этот образ со стороны реакционной клики и со стороны либералов. Тем более велика заслуга Гаршина, который сумел показать эту „болезнь“, как самоотверженный подвиг во имя счастья человечества.⁵³

Однако революционность этого произведения Гаршина была бы преувеличена, если бы мы не остановились на одном чрезвычайно характерном для Гаршина моменте. Борьба с мировым злом воспринимается в этом рассказе как подвиг самопожертвования. Воспевая подвиг свободолюбия и искренно восхищаясь им, Гаршин видит смысл и величие его только в готовности человека отдать делу борьбы с „мировым злом“ свою жизнь и счастье. Недооценка политической борьбы, о которой мы уже говорили, касаясь „Attalea grisea“, дает себя чувствовать и в этом рассказе. Гаршинского революционера можно себе представить только жертвующим свою жизнь ради уничтожения красного цветка, символа невинной крови и слез человечества, но нельзя себе представить его наносящим удары своим противникам ради той же великой цели. Это является следствием той „политической невоспитанности“ и „революционной мягкотелости“, о которой писал Ленин, характеризуя слабые стороны творчества Толстого. Эти же качества, несомненно, были присущи и Гаршину.

Этот коренной порок мировоззрения Гаршина (непонимание политической борьбы, боязнь революционного насилия) был менее заметен в таких произведениях, где он ставил своей задачей показать переход „смирного, добродушного молодого человека“ от эгоистической замкнутости к идее сближения с народом, но он очень явственно сказался там, где Гаршин подошел к образу революционера.

Этот же порок мировоззрения Гаршина определил и дальнейшую эволюцию писателя, его отход от злободневной социальной тематики и отдаление от позиций радикального народничества вообще.

Год 1883-й был переломным годом в творчестве Гаршина. В этом году он подвел итоги двум центральным своим темам: теме войны („Из воспоминаний рядового Иванова“) и тому комплексу вопросов, который был связан с проблемой интеллигенции („Красный цветок“). В этом же году он написал большой рассказ „Медведи“, который свидетельствует о поисках новой тематики, с одной стороны, и нового жанра — с другой. „Медведи“ — это первое крупное произведение Гаршина, в котором он, во-первых, отходит от прежней своей тематики, во-вторых, делает попытку создания нового типа рассказа, в котором личность автора не отождествляется с личностью героя, где интеллигент, его размышления и оценки современной действительности не являются основным содержанием произведения. Словом, он отходит от того типа *Ich-Erzählung*'а, который разрабатывался им раньше и который, как мы видели, сделался для Гаршина средством выражения тех идей об интеллигенции и ее взаимоотношении с народом, которые выдвигали его на передовые позиции радикально-народнической беллетристики 70-х и 80-х гг.

Этот путь был уже отчасти намечен в „Воспоминаниях рядового Иванова“, где на ряду с личностью Иванова значительную роль играли представители народа, крестьянства, — солдатская масса. Если бы Гаршин в своих поисках нового типа произведения пошел по этому пути, по пути непосредственного изображения народной массы, то мы могли бы говорить о приближении Гаршина к старшему поколению народнической литературы. Но „Медведи“ как раз и не дают оснований для такого заключения. Напротив, в этом произведении нет ни народа ни интеллигенции. Правда, убийство медведей дано здесь не только со стороны несколько сентиментального сочувствия к судьбе безобидных зверей; в рассказ введены и черточки, показывающие, что цыгане лишаются привычного

заработка, оберегающего их от конокрадства, этой застарелой язвы, возбуждающей к ним ненависть крестьянского населения. Вспомним обращение старого цыгана к исправнику: „Были у нас медведи — жили мы смирно, никого не обижали... Теперь же что будет? По миру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть... И будут наши молодцы ворами-конокрадами: некуда больше податься, ваше высокоблагородие“.

Автор не случайно вводит этот момент, он придает ему некоторое значение; финал рассказа оправдывает предсказание старого цыгана: молодой цыган, которого Ольга Павловна назвала Адонисом, через некоторое время идет на каторгу за грабеж и конокрадство.

Но рассказ написан, конечно, не ради этого беглого эпизода. Расстреляние медведей изображено в этом рассказе не как акт административного произвола, а как такое событие, в котором нет виноватых, где можно многих жалеть, но некого винить. Сочувствие невинным жертвам лишено здесь всякого элемента протеста. Самая возможность какого бы то ни было оппозиционного задания исключалась социальной малозначительностью изображенных здесь фактов. Это придавало новому рассказу Гаршина характер отвлеченной филантропичности, свободной от соприкосновения с проблемами „общественной несправедливости“. Эта новая тенденция, наметившаяся в „Медведях“, получила дальнейшее развитие в последующих произведениях Гаршина.

В 1884 г. в „Сборнике Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым“ появилась „Сказка о жабе и розе“. Тематически эта сказка отчасти примыкает к „Медведям“, вновь поднимая вопрос о безвинной гибели беззащитных существ, в данном случае, о безвременной смерти малого ребенка. Но героем этой замечательной сказки является не умирающий мальчик, а срезанная роза, облегчившая его последние минуты. „Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы“. Ей грозила

смерть от укуса старой жабы. „Господи, — молилась она, — хоть бы умереть другою смертью“. Ее желание исполнилось.

Мы вновь встречаемся здесь со старой гаршинской темой, с апологией самопожертвования. Ощутительные нити протягиваются, таким образом, к „Сказке о жабе и розе“ непосредственно от „Красного цветка“. Но то самопожертвование, которое возвеличивается в сказке о „Жабе и розе“, совершенно лишено героического элемента, являвшегося отличительной чертой этой идеи в „Красном цветке“. Принесение в жертву личной жизни и личного счастья в борьбе за свободу замесилось в этой сказке готовностью отдать свою жизнь даже не ради спасения одного человека, а ради облегчения его последних минут. В „Красном цветке“ самопожертвование выдвигалось как средство достижения великой общественной цели, которую преследовал самоотверженный безумец, теперь оно приобретает самодовлеющую ценность. Не революционный подвиг, а нравственная красота самоотречения привлекает теперь Гаршина. Идея самопожертвования колоссально деградирует в этом знаменательном произведении, она обеспложивается, освобождается от всякого элемента социального протеста и из области актуальных общественных вопросов переносится в сферу отвлеченной морали. Соответственно этому, из поля зрения автора совершенно исчезает проблема пессимизма, ибо, как мы видели выше, изображение пессимистического восприятия действительности у Гаршина было средством выражения глубокой неудовлетворенности условиями общественного устройства.

Следует отметить, что самая смерть ребенка, которая в духе отвлеченно-этического характера всего произведения могла бы дать повод для пессимистических размышлений о бессмысленности слепой стихийной силы, подается в „Сказке о жабе и розе“ без тени протеста, в духе покорности и смирения. Если раньше идея самопожертвования связывалась Гаршиным с возмущением против современного ему общественного строя, то теперь она соединяется с апологией примирения и покорности. Новое произведение Гаршина попадает в литературную среду, совершенно отличную от той, с которой соприкасались прежние его рассказы.

„Сказка о жабе и розе“ должна быть, прежде всего, поставлена в связь с популярными в России наивно-морализующими

сказками Х. Г. Андерсена, проникнутыми христианско-филантропическим духом.

Сказки Андерсена переводятся в России с начала 60-х гг., но особенной популярностью они начинают пользоваться с середины 70-х гг., после смерти автора (1875 г.). Гаршин считал Андерсена своим учителем, сказки Гаршина написаны под несомненным влиянием датского писателя. Это влияние особенно заметно именно в „Сказке о жабе и розе“.

Так, „Маргаритка“ Андерсена родственна гаршинской сказке и по теме и по трактовке ее, даже по сюжету. История о том, как скромная маргаритка погибла, заплатив своей жизнью ради того, чтобы скрасить последние минуты умирающего жаворонка, по существу дает ту же коллизия, что и сказка Гаршина.¹

В освещении этой темы Гаршин всецело следует Х. Г. Андерсену: обоих авторов привлекает нравственная красота самопожертвования, беззаветной покорности и кроткого смирения.

Самое противопоставление жабы и цветка мы также найдем в одной из сказок Андерсена — „Девочка-с-пальчик“. Там тоже старая жаба прыгает на прекрасный цветок с тем, чтобы похитить спящую под розовым листком девочку-с-пальчик, ангела цветка.²

Образ розы, как символа самопожертвования, опять-таки восходит к Андерсену.

У Андерсена этот образ является сложным комплексом эстетических и этических представлений. Роза изображается в сказках Андерсена, как олицетворение красоты, милосердия, беззаветного альтруизма и христианской жертвенности. Роза покоится на груди прекрасной девушки, ее целуют уста ребенка, в розовом кусте находит приют и последнее утешение даже ее умирающий враг и завистник; розы украшают могилы великих творцов красоты — Гомера и Торвальдсена; засушенные розы покоятся в молитвенниках кротких женщин и в книгах поэта.

Роза, как символ любви, имеет у Андерсена тончайшие оттенки. Он знает розу земной любви, цветущую на могиле Ромео и Юлии, и розу, распускающуюся на крови героя, умершего за отечество, и магическую розу науки и священную белую розу скорби. Но прекраснейшая роза мира у Андерсена вырастает из листов евангелия, это „живое подобие той, что выросла из крови Христа, пролитой на кресте“.

Смысл существования розы — это радость и кроткое счастье окружающего мира. Вся ее жизнь — это самопожертвование.³

Андерсеновская символика розы перенесена и в сказку Гаршина.

У Андерсена мы найдем и идею безропотного и безбоязненного приятия смерти. Оле-Лук-Ойе в сказке того же названия рассказывает мальчику Хяльмару сказки. Оле-Лук-Ойе — это олицетворение сна. Он показывает Хяльмару своего брата, которого зовут Смертью. „Видишь, — говорит добрый сказочник, — он вовсе не такой противный, как на картинках, где его рисуют скелетом. Нет, платье у него вышито серебром, это самый красивый гусарский мундир, черный бархатный плащ развеивается за ним над конем. Посмотри, как он скачет в галоп“. Он забирает стариков и молодых и у всех спрашивает, каковы их отметки. Тем, у кого отметки хорошие, нечего бояться брата Оле-Лук-Ойе. „Да, сон самый великолепный, Оле-Лук-Ойе, — сказал Хяльмар. Я его вовсе не боюсь“, „И не надо, — сказал Оле-Лук-Ойе, — были бы только отметки хороши.“⁴

В русской литературе для детей эту же идею безропотного подчинения слепым стихийным силам проводил в своих „Сказках Кота Мурлыки“ (1872) Н. Вагнер, также находившийся под влиянием Х. Г. Андерсена. Его „Песенка земли“⁵ изображает смерть больного ребенка, как проявление естественной необходимости, вечных законов земли, отвергающей все слабое и нездоровое. „Земля с грохотом падает на маленький гробик. „Ты моя, ты моя, — глухо повторяет она. — Ты моя и скоро возвратилась ко мне, потому что на мне не может жить слабое и больное: оно умирает, и я строю из него сильное и крепкое“. Эта мистическая идея, разумеется, чужда Гаршину, но безропотное, покорное приятие смерти невинного незащитного существа объединяет обоих авторов.

Эта же тенденция проникает и сказку Кота-Мурлыки о „Пимперлэ“,⁶ маленьком кудеснике, весельчаке и всеобщем утешителе. В этой сказке умирает маленький мальчик Теодор. Его смерть не вызвала ни жгучего горя, ни ропота его близких, она была встречена кроткой грустью. „Все молчали, опустив головы, у всех слезы навернулись на глаза... Но тут вдруг снова невидимкой влетел Пимперлэ, и слезы высохли у всех на глазах, у всех отлегло от сердца. Все стали довольны

и веселы, словно свершилось роковое, великое таинство смерти, и все встретили его спокойно и торжественно, с веселием крепкой, тихой веры и безграничным восторгом упования“.

Вообще, мысль о неизбежности горя и страданий, о бессмысленности борьбы, о необходимости смирения, восхваление кроткого самопожертвования является одной из основных идей в творчестве как Андерсена, так и Кота-Мурлыки. Гаршин в „Сказке о жабе и розе“ целиком совпадает с ними в основных тенденциях.

Гаршин испытывал влияние Андерсена и Вагнера еще в 70-х гг., но тогда это влияние не приводило его к подчинению тенденциям этих авторов.

„*Attalea princeps*“, подобно „Сказке о жабе и розе“, также может быть поставлена в связь с некоторыми аналогичными произведениями датского и русского писателей. У обоих авторов есть сказки о растениях — гордецах и мечтателях, поплатившихся жизнью за свои высокомерные порывы и стремления.

В сказке Андерсена „Гречиха“⁷ — это растение наделено гордостью и дерзкой решительностью, в противоположность скромному, кроткому хлебу.

„Хлеб стоял благодатный, и чем полнее был колос, тем ниже нагибался он в своем кротком стремлении“. „Гречиха не склонялась вовсе, подобно остальному хлебу, но поднималась гордо и чопорно“. Начинается буря. Все склоняются перед нею, кроме гречихи. Растения уговаривают ее покориться, но она упорствует в своем стремлении прямо взглянуть на небо, разверзающееся при блеске молний. „И она так и сделала в своем высокомерии и гордости“. За это нежелание склониться перед могущественными силами она была жестоко наказана.

„Когда прошел страшный ветер, цветы и хлеб стояли освеженные дождем на тихом и чистом воздухе, а гречиха была опалена молнией до-черна; на поле осталась одна негодная безжизненная трава“.

За недовольство своей судьбой, за стремление к лучшей жизни была наказана и ель в сказке Андерсена того же названия.⁸ Ее честолюбивые мечты сбылись: она вырвалась из свойственной ей обстановки, но зато была срублена и выброшена на двор.

Особенно близка к гаршинской „*Attalea princeps*“ сказка

Андерсена „Последний сон старого дуба“.⁹ Могучий дуб видит прекрасный рождественский сон. Ему чудится, что он внезапно начал расти „все выше да выше, все вверх да вверх, до самого сияющего неба“. Вслед за собою он увлекает и окружающие его деревья и цветы. „Громадный, величественный дуб, несмотря на все свое блаженство, не мог быть счастлив совершенно, пока все они, большие и малые, не будут при нем“. Он поднимается своей густолиственной вершиной до самых облаков, к сияющим звездам. С гордой радостью чувствует он, что корни его уже начинают отделяться от земли. Но именно в этот момент буря вырывает его с корнем и валит мертвого на холодную мерзлую землю.

„Береза“ Вагнера¹⁰ развивает эту излюбленную андерсеновскую тему, но уже в духе свойственной русскому зоологу-сказочнику мистически интерпретированной теории приспособления к среде и борьбы за существование.

Береза недовольна жизнью: солнце жжет слишком сильно, дождь льет слишком долго; даже когда все хорошо, она грустит, не доверяя своему благополучию. Кроме того, ей слишком тесно, деревья стесняют ее, ей хочется побольше простора. Ее желание исполнилось: люди вырубили рощицу, и она осталась одна. Но тут, как и у Андерсена, начинается возмездие: налетает страшная буря. По своей природе береза не может согнуться, по своей слабости она не может противостоять мощным порывам ветра и поэтому погибает.

Философия автора такова: хорошо тому, кто приспособлен к суровым условиям, „кто умеет жить полной жизнью и умеет ею наслаждаться“.

„Это правда, это правда! — закричали все, да умрет все слабое, что не может пользоваться жизнью и не имеет на нее права“.

Итак, гордые и мечтательные растения Андерсена наказываются автором за свои стремления к небу, простору и свободе; земные существа не должны даже в мечтах выходить из назначенных им пределов: это страшный грех, который сразу влечет за собой гибель. Вагнер также казнит свою героиню за ее бессильный пессимизм, за ее неосновательные и претенциозные стремления к таким условиям жизни, на которые она, по своей слабости и неприспособленности, не имеет никаких прав.

Гаршин, в противоположность обоим авторам, утверждает законность, величие и нравственную красоту свободолюбивых стремлений своей палмы, несмотря на безрезультатность ее борьбы. Таким образом, „*Attalea princeps*“ связана со сказками Андерсена и Вагнера лишь по сюжетному замыслу, но не по идейному содержанию; в этом она не только не совпадает со своими источниками, но, напротив, противоречит им.

Зато в „Сказке о жабе и розе“ зависимость Гаршина от Андерсена и Кота-Мурлыки перешла в полное подчинение их идеям. Это не значит, конечно, что Гаршин пришел теперь к совершенно новому для него строю мыслей. Идея жертвенности, как мы видели, наметилась у Гаршина уже в „Четырех днях“, но там это был лишь незначительный намек, не определявший характера всего произведения, в „Красном цветке“ она стала центральной проблемой, но в соединении с апофеозом героизма, с идеей борьбы против мирового зла она приобрела объективно прогрессивный смысл. В „Воспоминаниях рядового Иванова“ „кроткое отношение в жизни“ обусловило уже такие моменты, как реабилитация Венцеля и умиление перед плачущим „кротким“ царем, но там эти эпизоды отчасти уравновешивались солдатскими сценами, отразившими большую силу солдатского возмущения против военного начальства и проникавшей все произведение идеей сближения интеллигента с народом, идеей, воплощенной в образе Иванова, добровольно надевшего солдатскую шинель. В „Сказке о жабе и розе“ идея кротости, беззлобия и смиренной жертвенности обособилась от всех прочих моментов и выросла в целое произведение, по тенденциям своим качественно отличное от всех предшествующих рассказов Гаршина.

Трудно сказать, какое дальнейшее развитие нашел бы у Гаршина этот начавшийся процесс отхода от протестантских настроений 70-х и начала 80-х гг., если бы путь его литературного развития не встретился с тем идейным течением, которое связано с именем Льва Николаевича Толстого.

• Ко второй половине 80-х гг. проповедь Льва Толстого начинает звучать с особенной силой и сразу становится предметом ожесточенных литературных и внелитературных споров. Толстой обрушивается на буржуазно-помещичье государство и на его официальную идеологию, в том числе и на официальную православную церковь. Но в то же время Толстой

проповедует отказ от революционного насилия, отказ от активной борьбы с тем самым злом феодальных и капиталистических отношений, против которых он восстает. Он отрицает политическую борьбу и взамен ее выдвигает теорию самоустранения от зла, пассивного противоборства ему кротостью и смирением. Общественные отношения, по мысли Толстого, изменить невозможно, меняться могут только люди. Отсюда вырастает его теория личного нравственного перевоспитания в духе кротости, беззлобия и любви, в духе велений совести, которая живет в душе каждого человека, как бы развращен он ни был, и является голосом бога. Сила добра перевоспитавшихся людей, противопоставленная сила зла людей, живущих по „учению мира“—сама по себе положит предел тому беззаконному насильственному строю, который тяготеет над современным человечеством.

Это противоречие между критической стороной учения Толстого и его положительной программой получило гениальное истолкование в статьях Ленина о Толстом. „Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — писал В. И. Ленин в 1908 г., — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские „толстовцы“, пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, вредных как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции“ (Соч., XII, стр. 333).

В начале 80-х гг. Толстой делает попытки изложить свою систему в легальной печати. В 1881 г. появляется его сказка „Чем люди живы“, заключающая в форме легенды выражение толстовской теории всеобщей любви и милосердия, как основы человеческих взаимоотношений.

В 1882 г. он публикует статью „В чем счастье“, в которой уже заложены многие элементы толстовской критики капиталистической системы. В том же году он делает попытку

напечатать в „Русской Мысли“ вступление к „Исповеди“, однако цензура вырезает эту статью, и она впервые появляется два года спустя в бесцензурном заграничном издании. Однако не будучи пропущена цензурой, статья расходится в списках и возбуждает толки на страницах журналов.

В 1884 г. цензура запрещает также одно из основных произведений Толстого этого периода „В чем моя вера“, но содержание его опять-таки становится сразу же известным и находит отклики в прессе.

С 1882 по 1885 г. печатается ряд статей Толстого по поводу Всероссийской переписи, основным содержанием которых является обрисовка вопиющих противоречий между ростом богатства зажиточных классов и ужасающей нищетой городской бедноты. В этих же статьях настойчиво подчеркивается мысль о том, что этим обнищавшим людям можно помочь только силой „деятельной любви“.

В 1884 г. И. Горбуновым-Посадовым было основано издательство для народа „Посредник“, которое ставило своей целью распространение толстовских идей среди самых широких народных масс в максимально доступной для малограмотного читателя форме.

В издании „Посредника“ были напечатаны знаменитые народные рассказы Толстого и целый ряд произведений других крупнейших писателей, которые широко привлекались к работе в этом издательстве. Сотрудником его стал и В. М. Гаршин.

Для „Посредника“ он переработал свои „Четыре дня“ и „Медведь“ и заново написал „Сказание о гордом Аггее“ и „Сигнал“.

Таким образом, к середине 80-х гг. толстовское учение распространилось уже широким потоком. В начале десятилетия произведения Толстого, отражающие его новое учение, печатались, правда, довольно скупно, однако, основы его теории и тогда уже были достаточно хорошо известны читающей публике и подвергались живому обсуждению в литературных кружках.

Усиление аполитических настроений в творчестве Гаршина, наметившееся в „Медведях“ и особенно в „Сказке о жабе и розе“, тенденция отхода от социальных проблем в сторону вопросов личной морали,— все это неизбежно должно было приблизить Гаршина к этической проповеди Льва Толстого.

Этому способствовало и личное его сближение с виднейшими последователями и друзьями Льва Толстого, руководителями „Посредника“ — В. Г. Чертковым и П. И. Бирюковым. С первым из них Гаршина связывала тесная дружба. В недавно опубликованных воспоминаниях о Гаршине В. Г. Чертков так характеризует степень их взаимной близости: „Смерть Всеволода Михайловича, — пишет он, — была для меня невыразимым горем, лишив меня одного из самых лучших друзей, которых я когда-либо имел“.

В. М. Гаршин вводит Черткова в среду литераторов, стремясь популяризировать его взгляды. „Всеволод Михайлович, очевидно, считал, — пишет В. Г. Чертков в цитированной статье, — что общение со мной послужит благотворным возбуждением для сознания спящего непробудным сном кружка писателей и интеллигентов, среди которых он вращался. Одно время он меня часто брал с собою к тому или другому своему знакомому, у которого собирались приятели, и мне приходилось играть роль выразителя и защитника от самых разнообразных нападений того жизнепонимания, которое получило название „толстовства“. Я тогда очень любил этого рода беседы, и споры наши принимали характер самый воодушевленный. Всеволод Михайлович обыкновенно сначала молча наблюдал, прислушиваясь к ходу беседы, но, когда спорившие со мной особенно несправедливо нападали на те взгляды, которые я высказывал, им овладевало внутреннее возмущение, и он, становясь на мою сторону, разражался вдохновенным и поражающим своей силой обращением к собравшимся, иногда довольно продолжительным.¹¹

Приближение Гаршина к учению Толстого до конца завершилось в „Сказании о гордом Аггее“ и, отчасти, в „Сигнале“; эти произведения не оставляют сомнений относительно степени его увлечения толстовством.

На пути к этим вполне „толстовским“ произведениям стоит „Надежда Николаевна“ (1885). По своему идейному составу эта повесть довольно сложна: здесь мы встречаемся со старыми темами Гаршина (вопрос о проституции, проблема художественного творчества), которые связывают эту повесть с „Происшествием“ и „Художниками“. Но кроме того, мы имеем здесь целый комплекс вопросов, характерный для нового этапа гаршинского творчества: возрождение проститутки,

совершающееся благодаря любовному и дружескому участию, проявленному к ней честным и хорошим человеком; и, кроме того (а это основное), мы встречаемся здесь с вопросом о законности насилия, т. е. с тем самым вопросом, который был выдвинут в те годы Львом Толстым и стал предметом литературной борьбы середины 80-х гг. Но и старые проблемы видоизменяются в этой повести.

Мы помним, как Гаршиным была разработана тема проституции в „Происшествии“. Там Гаршин рассматривал проституцию, как явление, характеризующее определенное социальное устройство, проституция рассматривалась, как „должность“, принятая и узаконенная современным обществом. Социальная заостренность этой проблемы в „Надежде Николаевне“ значительно ослаблена; вопрос об общественной санкции этого института не ставится вовсе. Из области социальных проблем вопрос переносится в плоскость этическую, и соответственно этому судьба Надежды Николаевны связывается уже не с общественными условиями, а с проявлением доброй или злой воли сталкивающихся с нею лиц (Лопатин — Бессонов). Линия, которая связывает „Надежду Николаевну“ с „Художниками“ точно также изменяется в этой повести в сторону снижения социальной значимости. В „Художниках“ изображение среды живописцев, как мы помним, нужно было Гаршину для противопоставления двух направлений в искусстве: тенденциозного и так наз. „чистого“ искусства и соответственно этому для противопоставления двух групп интеллигенции: народнической и буржуазно-своекорыстной. В новой повести Гаршина среда живописцев является только повествовательным фоном для развития любовного сюжета, антагонисты повести Лопатин и Бессонов противопоставлены друг другу не как представители социальных групп, а как носители противоположных нравственных качеств. Точно также друзья-художники Лопатин и Гельфрейх являются представителями разных жанров в живописи, но отнюдь не разных художественных направлений. Выбор именно этой среды, среды художников-живописцев в „Надежде Николаевне“ не несет никакой проблемной функции и в этом отношении является совершенно произвольным, если не считать некоторых реплик об искусстве, которых мы коснемся ниже.

Работу над „Надеждой Николаевной“ Гаршин начал еще

в 1878 г., возобновил ее в конце 1879 г., затем работа была прервана до августа 1884 г. и закончена в начале 1885 г. Самый замысел этой повести связывался у Гаршина с отходом от прежних идейно-литературных позиций. Вот что он писал в декабре 1879 г.: „Писать я хочу уже полтора года тому назад продуманную, а теперь дополняющуюся и изменяющуюся (пока в моей голове, конечно) историю. Не написал я ее в свое время — хотя начинал — не из чего иного, как из какого-то рабства. Дело в том, что „направления“ какого бы то ни было в рассказе совсем нет. Совершенно личная история с любовными делами и очень кровавой развязкой. „О. З.“ наверное не напечатают, а все „Русское Богатство“ вознегодует, — это я чувствую“.

„Знаю, что будут ругать меня жестоко, — пишет он уже по окончании повести, — и не за те недостатки, которые вижу я, а за вещи посторонние: за отсутствие политики, за занятие любовью и ревностями в наше время, когда... и пр.“¹² Итак, отсутствие „направления“ и политики Гаршин связывал с любовным сюжетом „Надежды Николаевны“. Он, несомненно, упрощает вопрос: самый факт использования любовного сюжета еще не свидетельствовал об „отсутствии политики“: любовный сюжет был и в „Происшествии“. Все дело в том, что этот сюжет выполняет в „Надежде Николаевне“ другую функцию, нежели в „Происшествии“. Любовь героя повести к проститутке теперь нужна Гаршину не для того, чтобы показать столкновение героя с реальным фактом общественной несправедливости, а для того, чтобы развернуть проблему борьбы с этой общественной несправедливостью одной только силой любви. Опасения Гаршина справедливы лишь в том смысле, что при помощи любовного сюжета он переводит свою старую проблему в плоскость отвлеченных этических вопросов. „Занятие любовью и ревностями“ теперь нужно Гаршину для того, чтобы показать столкновение доброго и злого начала в борьбе за человеческую душу. Герои-соперники Лопатин и Бессонов и являются носителями этих отвлеченно-этических начал: любви альтруистической и любви эгоистической. Новая мысль Гаршина заключается в том, что Надежда Николаевна нуждалась только в любви, человеческом отношении и дружеском участии для того, чтобы вступить на новый путь. Она обязана своим возрождением, конечно,

не-материальному заработку, который предоставил ей Лопатин, а его душевной заинтересованности в ее возрождении. Чтобы помочь ближнему, оказывается, не нужно никакой иной деятельности, кроме деятельной любви. Эта идея движет весь сюжет повести, и она-то является тем новым постулатом, которым заменил Гаршин в этой повести социальную проблему проституции. Нетрудно увидеть в этой идее „Надежды Николаевны“ отражение проповеди Л. Толстого о замене целесообразного воздействия на общественные условия личным нравственным самоусовершенствованием, о невозможности помочь ближнему ни деньгами ни каким-либо иным средством, кроме как любовью и душевным участием.

В тесной связи с этим положением у Л. Толстого стояло и требование отказа от насилия даже ради помощи угнетенным. Точно также и у Гаршина центральная идея его повести неразрывно связывается с вопросом о насилии.

Одной доброй воли Лопатина оказалось вполне достаточно для нравственного возрождения другого человека, но его добрая воля сталкивается со злой волей Бессонова, которой Лопатин, как оказывается, ничего не может противопоставить, кроме силы того смертоносного жезла, которым он и убивает Бессонова, пытаясь спасти жизнь возрожденного им человека. Гаршин не находит возможным осудить за это своего героя и тем самым не находит возможности безоговорочно присоединиться к толстовскому учению о „непротивлении злу насилием“. Но в то же время образ Лопатина и развязка „Надежды Николаевны“ не свидетельствуют также и о безоговорочно-отрицательном отношении Гаршина к непротивленчеству.

Дело в том, что внутренний голос осуждает Лопатина, он держит за свое преступление ответ перед судом своей совести и оправдания не находит.

„...какой-то голос не переставая нашептывает мне на ухо о том, что я убил человека. Меня не судили. «Дело» прекращено: было признано, что я убил, защищаясь. Но для человеческой совести нет писанных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь“.

Итак, верховным судьей оказывается „совесть“, осуждающая всякое насилие, какие бы цели оно ни преследовало, и заставляющая любить своих врагов.

„Скоро господь простит меня, — пишет умирающий Лопатин,

тин, — и мы встретимся все трое там, где наши страсти и страдания покажутся нам ничтожными и потонут в свете вечной любви“. Эти заключительные слова „Надежды Николаевны“, равно как и самоосуждение Лопатина обнаруживают несомненное влияние толстовской доктрины „совести“ и всеобщей „любви“, которую Ленин относил к числу наиболее реакционных и вредных сторон учения Л. Толстого „...в наши дни, — писал он в 1911 г., — всякая попытка идеализации учения Л. Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей «любви» (курсив наш. Г. Б.), его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред“. ¹³

Однако некоторые моменты повести Гаршина свидетельствуют все же о том, что старая идея активной борьбы со „злом“ еще не окончательно вытеснена из сознания Гаршина. Обратим внимание на сюжет картины, над которой работает Гельфрейх. Он собирается изобразить Илью Муромца, который, сидя в темнице, задумался над страницей священного писания.

„И раскрыл он место о нагорной проповеди, и читает он о том, что получивши удар, надо поставить себя под другую. И читает он это место и не понимает. Всю жизнь трудился Илья, не покладая рук; печенегов, и татар, и разбойников извел великое множество; разных Тугариных Змеевичей, и Идолищ Поганных и поленищ и жидовинов побеждал; век прожил в подвигах и на заставах, не пропуская злого в крещеную Русь; и верил он во Христа, и молился ему, и думал, что исполняет христовы заповеди. Не знал он, что написано в книге. И теперь он сидит и думает: „Если ударят в правую щеку, подставить левую? Как же это так, господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый и начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать? Нет, господи, не могу я послушаться тебя. Сяду я на коня, возьму копье в руку и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя“.

Как видно, Гельфрейх не склонен разделять толстовскую теорию непротивления, но все же для него этот вопрос далеко

не является решенным, как не является он решенным и для Лопатина, а соответственно и для Гаршина.

Гельфрейх не берется решать поставленного им вопроса о законности насилия в защиту угнетенных. „Ты заставишь людей думать, вот и все“, — говорит он.

Но самая половинчатость подобной постановки вопроса говорит о том, что Гаршин все же не решил вопроса о непротавлении в отрицательном смысле. Недаром он противопоставил своим страстным, мятущимся и борющимся героям образ кроткой и незлобивой Сони, являющийся воплощением любви и примирения.

Если бы тенденции „Надежды Николаевны“ не нашли продолжения в творчестве Гаршина, то эту повесть можно было бы рассматривать, как свидетельство о весьма кратковременном колебании писателя. Но те идеи, зародыши которых имеются в повести, нашли дальнейшее развитие в „Сказании о гордом Аггее“ и „Сигнале“. Поэтому „Надежда Николаевна“ приобретает значение переломного пункта в творчестве Гаршина.

Гаршин сам осознал эту повесть как документ художественных поисков чего-то принципиально нового и не только в области содержания, о чем говорилось выше, но и в области формы.

Вскоре после выхода повести в свет, он писал В. М. Латкину:

„Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных отрывочных воплей, каких-то «стихов в прозе», какими я до сих пор занимался: материалу у меня довольно и нужно изображать не свое я, а большой внешний мир. Но старая манера навязла в перо, и оттого-то первая вещь с некоторым действием и попыткою ввести в дело нескольких лиц решительно не удалась. Что вещь вышла не „реальная“, о том я не забочусь. Бог с ним, с этим реализмом, натурализмом, протоколизмом и прочим. Это теперь в расцвете или, вернее, в зрелости и плод внутри уже начинает гнить. Я ни в коем случае не хочу дожевывать жвачку последних пятидесяти-сорока лет, и пусть лучше разобью себе лоб в попытках создать себе что-нибудь новое, чем идти в хвосте школы, которая из всех школ, по моему мнению, имела меньше всего вероятности утвердиться на долгие годы. Ибо она-то и предста-

вляет чистое «искусство для искусства» не в философском смысле этого слова, а в скверном. Для нее нет ни правды (в смысле справедливости), ни добра, ни красоты, для нее есть только интересное и неинтересное, «заковыристое и незаковыристое»¹⁴.

Это любопытное высказывание Гаршина дает чрезвычайно ценный материал как для суждения о тех художественных задачах, которые он ставил перед собой в работе над „Надеждой Николаевной“, так и для выяснения его эстетической позиции в тот, переломный для его творчества, период.

Во-первых, Гаршин стремится отойти от „стихотворений в прозе“, от изображения исключительно своего „я“, словом, от жанра и стиля *Ich-Erzählung*'а; во-вторых, он хочет перейти к изображению „большого, внешнего мира“; в связи с этим он намечает и стилевые особенности этого нового метода: наличие действия и, следовательно, нескольких действующих лиц. Словом, Гаршин формулирует здесь основные принципы реалистического метода. В этой связи на первый взгляд очень странное впечатление производят те выпады против реализма, которые Гаршин делает в этом же письме. Но недоумение разъясняется, как только мы обратим внимание на то, в каком смысле употребляет он термин „реализм“. „Бог с ним, с этим реализмом, протоколизмом и прочим“. Совершенно очевидно, что Гаршин восстает здесь не против реализма в нашем понимании этого термина, а против безидейного, протокольного натурализма. Что он имеет здесь в виду именно это направление, свидетельствует его характеристика данной школы, как „чистого искусства для искусства“, для которого „нет ни правды (в смысле справедливости), ни добра, ни красоты“. Относительно натурализма, ставящего своей целью фотографирование отдельных фактов действительности, упреки Гаршина в высокой степени справедливы. Эти взгляды Гаршина, очевидно, стоят в связи с той реакцией против протоколизма, золаизма, „натурализма“ (от „Нана“), которая началась в литературе радикального лагеря в начале 80-х гг.¹⁵ Еще в 70-х гг. в литературе раздавались голоса против крайностей „бестенденциозного“ натурализма. Так, например, А. Скабичевский писал об этом следующее:

„Изображать жизнь в ее неподкрашенной правде — прекрасно; но, с одной стороны, с какой же целью должен поэт

быть каким-то рабским эхом жизни, и притом эхом, далеко уступающим отражаемым звукам? А с другой стороны — должен ли поэт действительно, подобно эху, отражать безразлично все, что только ни вошло в его кругозор или он имеет право выбора?... Что бы поэту ни задумалось: явления, выражающие собою дух века или журчания ручейков, роковые стремления своих современников, или же впечатления и мелкие подробности рыбных ловлей — все безразлично входило в область реального искусства и допускалось вышеупомянутым принципом, лишь бы только изображение было верно действительности. Из этого выходили распушенность и произвол, почти столь же необузданные, какие господствовали и в романтизме с его теорией безусловной свободы поэтической фантазии".¹⁶

Здесь, как мы видим, так же как и у Гаршина, ведется полемика против натурализма, который, опять-таки, как у Гаршина, называется реализмом.

Разумеется, ни раньше, ни тем более в период перелома, когда творчество Гаршина направилось на разрешение „толстовских“ проблем, протокольное изображение действительности удовлетворить его не могло.¹⁷ Ему нужно было прежде всего выражение в литературном произведении какой-то „правды“, руководящей идеи, т. е. того, что в вышеприведенной цитате Скабичевский назвал „духом века“ и „роковыми стремлениями современников“.

В прежних произведениях Гаршин выражал свои идеи правды-справедливости, непосредственно вкладывая их в уста героев, представлявших самого автора, теперь он решил дать эти идеи на материале изображения большого внешнего мира, в рассказе с действием и несколькими персонажами.

Поскольку занимавшие Гаршина в „Надежде Николаевне“ проблемы выражены опять-таки в значительной степени путем прямых высказываний героев (вспомним рассуждения Гельфрейха об Илье Муромце, финальное самоосуждение Лопатина и т. д.), постольку Гаршин действительно имел основание сказать, что старая манера навязала в перо и что повесть не удалась ему. Но во всяком случае „Надежда Николаевна“ действительно первое произведение Гаршина с развернутой фабулой и с напряженной борьбой действующих лиц, что свидетельствует о несомненном успехе Гаршина в области перестройки привычных для него форм повествования.

Фабула „Надежды Николаевны“ построена на любви, ревности, двойном убийстве, тяжелом ранении, словом, на таких сюжетных мотивах, которые неизбежно роднят ее с уголовным, судебным романом. Это родство, разумеется, не случайно, оно определяется характером той проблемы, которая занимала Гаршина в этом произведении. Основной интерес многих громких процессов того времени сосредоточивался не на выяснении наличия или отсутствия состава преступления, а на оценке самого нравственного характера преступления, побудительных причин к нему, на вопросе о вменяемости или невменяемости заведомо доказанного преступления, причем выяснение нравственного характера преступления часто сопровождалось сложнейшей судебно-медицинской психологической и психопатологической экспертизой. Все нападки на суд присяжных основывались именно на частых случаях оправдательных приговоров сознавшимся преступникам.

Неудивительно, что в конце 70-х и 80-х гг. эти процессы оказывали значительное влияние на литературу и содействовали популяризации судебно-уголовного жанра. В конце 70-х гг. общественное внимание было привлечено рядом громких процессов, волновавших периодическую печать и литературу.

Назовем, для примера, дело Каировой, покушавшейся на убийство жены своего любовника; оправдательный приговор, при несомненно доказанной вине подсудимой, содействовал популяризации этого процесса, заинтересовавшего даже Достоевского и отраженного им в „Дневнике писателя“.

К числу такого же типа трудных „психологических“ дел относится и дело Корниловой, покушавшейся на убийство падчерицы. Процесс сопровождался сложной психологической экспертизой, которая привела к оправдательному приговору при втором слушании дела. Пересмотру дела значительно содействовал опять-таки „Дневник писателя“.

Такой же „психологический“ характер носило и дело Кириловой, проститутки, убившей своего возлюбленного, который оскорбил любовь и человеческое достоинство подсудимой. В процессе разбора дела уделялось внимание попыткам убитого вернуть подсудимую к трудовой жизни, защита была построена на анализе особенностей психологии любви и ревности у социально-униженного существа, каким была подсудимая. Словом, процесс затронул ряд жгучих для того времени вопросов,

волновавших и Гаршина в „Надежде Николаевне“. Преступление Кирилловой не было вменено ей в вину, и она была оправдана.

В 1879 г. общее внимание было привлечено к делу прапорщика Ландсберга, убившего ростовщика и его кухарку. Подсудимый подал суду записку с анализом своего душевного состояния и тех причин, которые толкнули его на преступление. Этим процессом был заинтересован и Гаршин.¹⁸

Все эти оправдания на основе невменяемости преступления возбуждали исключительное негодование реакционной прессы, рассматривавшей их как проявление нигилизма и подрыв законности и власти. Самый интерес общества к такого рода процессам квалифицировался реакционной прессой как нечто, в высокой степени антипатриотическое.¹⁹

Особое негодование реакционной печати, естественно, возбуждает идея невменяемости преступления.

Дело в том, что вопрос о вменении в вину преступления перерастал чисто юридические рамки и приобретал более широкий смысл. Политическая актуальность этого вопроса была наглядно проиллюстрирована хотя бы процессом Веры Засулич, где оправдательный приговор означал именно невменение в вину заведомо доказанного факта,

„Очень многие были возмущены отрицанием виновности подсудимой при наличии факта преступления и сознания в нем“, пишет А. Ф. Кони об этом процессе, „...никто не хотел понять, что, говоря «не виновна», присяжные вовсе не отрицали того, что она сделала, а лишь не вменяли ей этого в вину“.²⁰

Поставив вопрос о вменяемости по отношению к Лопатину, Гаршин сразу же перевел его из плоскости социальной в плоскость этическую и разрешил в духе „доктрины совести и всеобщей любви“ („для человеческой совести нет писанных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь“). Это опять-таки следует приписать влиянию толстовского учения.

Примирительное отношение к толстовству несомненно противопоставляет Гаршина передовой радикально-народнической и даже леволиберальной журналистике, которая отнеслась резко и безусловно отрицательно к толстовскому непротивленчеству.

Правда, народническая критика толстовства была поверхностна и однобока, так как социальная сущность толстовского учения была скрыта от народников. Они не смогли увидеть крестьянского протеста, заложенного в критике Толстого, и потому не сумели разобраться в противоречивых сторонах его теории. Но даже эта поверхностная критика толстовского непротивленчества была относительно прогрессивнее безоговорочного приятия реакционных сторон учения Толстого.

Народническая полемика с Толстым достигает особенной силы именно в середине 80-х гг., когда совокупность его взглядов обрисовалась уже вполне отчетливо. Так, Н. Михайловский, который еще в начале 70-х гг., во время споров по педагогическим вопросам, поднятым Л. Толстым, встал на его сторону, видя основной смысл его учения в противопоставлении трудового народа тунеядческим классам, в середине 80-х гг. выступил с резкой критикой Л. Толстого именно за непротивленчество. В этом учении он отказывался видеть нечто новое, рассматривая его как апологию фактически существующего в современном обществе положения рабской покорности широких масс по отношению ко всяким видам угнетения.

„Я не понимаю этого, — писал он в 1886 г. — Это какое-то колоссальное недоразумение, возможное только в такие мрачные, тусклые времена, какие переживаем мы. Пусть ломаются к вам в дом, пусть бьют отцов и детей ваших, — так надо, убийцы спасают ваших близких и кровных от вящих грехов, но горе вам, если вы сами пальцем коснетесь убийц. Увы, гр. Толстой является в этом случае даже не учителем, он с улицы поднял свое поучение, ибо вся улица поступает именно так, как желательно гр. Толстому“.²¹

Народники предприняли критику и философских основ толстовства.

Известный философ В. Лесевич выступил в „Северном Вестнике“ со статьей „Буддийский нравственный тип“, в которой он рассматривает толстовство как возрождение буддизма, как стремление оживающих общественных сил к историческому покою, к нирване.

„Буддийский нравственный тип, — пишет он, — весь уходит в отшельничество, иночество, отречение от мира... Полное отречение от мира становится руководительным правилом жизни; странствующий нищий — ее высшим идеалом“.²²

Философская критика толстовства велась народниками с неправильных позиций, основываясь на полном согласии с учением „субъективной школы в социологии“, на вульгарном отрицании детерминированности общественных явлений. Для нас она в данном случае важна лишь в том смысле, что показывает теоретические корни неприемлемости толстовского непротивленчества для народнической мысли 80-х гг.

Вместе с народниками отрицательное отношение к непротивленчеству разделяли и такие органы либеральной печати, как „Русская Мысль“, которая всецело присоединилась к цитированной выше статье Н. Михайловского.²³ Но и независимо от Михайловского „Русской Мысли“ доводилось от своего имени высказывать по поводу толстовской теории непротивления сходные с Михайловским воззрения. Вот, например, что писал анонимый рецензент „Русской Мысли“ по поводу сказки Л. Толстого об Иване-дураке.

„В сказке, конечно, все можно «сказывать», что на ум взбредет, и никто сказочнику не указчик, только, если к нам «дуракам» придет войною немец или китаец, мы, все-таки, не последуем «благому» примеру «дураков» графа Толстого, так как наверное знаем и гр. Толстой знает, что ни немецким, ни китайским и никаким настоящим солдатам не станет «гнусно», и они от нашего «непротивления» не разбегутся. Стало быть, нечего и толковать о пустяках“.²⁴

Таким образом, в резко отрицательном отношении к непротивленчеству объединялась вся оппозиционная журналистика различных политических направлений. Лишь на страницах „Недели“ можно встретиться в те годы с полным признанием толстовского учения. „Неделя“ принимала и его непротивленчество и призыв к опрощению и, разумеется, отказ от широких общественных задач. В толстовском учении „Неделя“ видела „разрешение вопроса экономического и социального, который есть в сущности вопрос крыловского ларчика. Его надо просто открыть. И он действительно открывается естественным стремлением человека к его собственному счастью, к его нравственному успокоению, раз только он поймет, что его счастье в исполнении закона жизни, повелевающего ему трудиться для себя и других“.²⁵

Революционные стороны толстовской критики при этом, конечно, совершенно не замечались и вообще все его учение

целиком рассматривалось фактически как новый вариант теории малых дел.

„Пора отрезвиться, довольно обманов. Если на земле невозможно то лучезарное счастье, которое носилось перед нами в наших поэтических грезах, то нечего и гнаться за ним и вместо этих бесплодных и мучительных исканий лучше принять хотя и скромные, но действительные блага трудовой и человечески справедливой жизни. Таков вывод из учения графа Толстого“.²⁶

Итак, для „Недели“ сущность толстовского учения — в отказе от революционной, как и вообще от какой бы то ни было оппозиционной деятельности. Призыв к „отрезвлению“, к отказу от „обманов“ несомненно не мог иметь в те годы другого смысла.

Подобное восприятие толстовского учения, исключительно с реакционной его стороны, проникло и в беллетристику. Небезызвестный публицист и писатель Л. Е. Оболенский, близкий по своим взглядам к „Неделе“, с начала 80-х гг. находившийся под сильным влиянием Толстого, в 1885 г. опубликовал роман „Два полюса“,²⁷ являющийся беллетристической иллюстрацией к приведенным выше взглядам „Недели“ на толстовское учение.

Уже самое название романа говорит о том исключительном значении, которое придает автор учению Толстого. Это учение разделило мир на два полюса: сторонников и противников его. Первый полюс численно еще очень невелик, в романе Оболенского он представлен лишь одним героем, но зато главным: это толстовец-помещик Шилов; другой полюс — все остальные: здесь и медик-радикал, и адвокат-эгоист и циник, и светская дама европейски-либерального направления.

Помещик Шилов пережил нравственный переворот. В молодости он совершил грех, „погубив“ девицу-мещанку. Он загладил свой грех женитьбой, но убедился в том, что одно преступление неизбежно влечет за собой другое. Это и послужило началом его возрождения в духе христианства. Его новые взгляды и идеи целиком заимствованы у Толстого, хотя это имя нигде в романе не названо. Вот образцы его рассуждений. „Улучшить жизнь — значит улучшить людей, значит, не нарушая законов (законов жизни. Г. Б.), улучшить их и изменить, улучшая

и перерождая людей. Чем любящее и мягче будут люди, тем мягче и добрее будут законы жизни. Думать, что жизнь можно улучшить, прямо ломая ее законы — нелепость.

„...каждый всю жизнь свою должен отдать на то, чтобы работать на других, чтобы творить людям добро... Проповедь, даже проповедь любви, одна — бессильна. Надо делать добро, а не проповедывать его. И добро должно состоять не в раздаче денег, которые при том же не ты и заработал... они скорее приносят зло... Добро не в этом: добро в такой работе, которая бы улучшала жизнь и ее законы“.

Шилов, отыскав документы, удостоверяющие, что половина его родового поместья еще во времена его деда была куплена крестьянами, передает мужикам принадлежащую им землю. Любопытно, что для передачи земли крестьянам автору недостаточно одной моральной санкции, и он вводит еще момент юридический. Вообще, образ Шилова, хотя и построенный по толстовскому катехизису, почти совершенно свободен от революционных сторон толстовского учения. Принципы самоусовершенствования, любви, христианской морали, отрицания революционных способов общественного переустройства — таково идейное содержание этого образа. Даже толстовская критика официальной церкви не нашла отражения в романе Оболенского. Шилову удалось склонить на сторону своего учения священника о. Василия, и когда тот подумал, было, о сложении сана, то именно Шилов отсоветовал ему сделать этот шаг, убедив его в высоком значении его поста.

Роман заканчивается новым перерождением Шилова: он решает совершенно изменить свой образ жизни, бросить привычную обстановку довольства и материального достатка, „отрешиться от себя“, „стать божьим человеком“.

Этот-то „полюс“, т. е. полюс толстовского учения, взятого с реакционной его стороны, предлагается автором как нечто такое, что должно окончательно заменить всякие освободительные попытки таких общественных деятелей, которые, хотя „действительно и непритворно любят свободу“, но „становятся деспотами и готовы оперировать и лить в желудок общества всякие героические средства, не думая дожидаться согласия на это больного или его приглашения“.

Учение Толстого оказало известное воздействие и на народническую беллетристику. Аналогичное Гаршину половинча-

тое отношение к толстовству обнаружилось в творчестве Златовратского.

В том же году, когда появилась „Надежда Николаевна“ (1885), и в том же журнале („Русская Мысль“) была напечатана повесть Н. Златовратского „Мои видения — рассказ одного маленького человека“. ²⁸ Рассказчик — Иван Петрович Кузнецов, маленький человек, выписавшийся из крестьян мещанин, литератор, живописец, гравер, — одним словом, свободный художник. В нем происходит душевный перелом. Его мучит сознание своей ответственности за несовершенства всего строя человеческой жизни. Душевные терзания его доходят до галлюцинаций.

„И я повторял только, удрученный сознанием бессилия: что же мне делать? что мне делать?“

Случай приводит его к большому старому дому, к которому подъезжают кареты, привозящие аристократов. Приходят также люди среднего сословия и даже фабричные и мастеровые.

„На мой вопрос, кто живет в этом доме, одни говорили: это — мудрец, другие — это кающийся, третьи — это ищущий правды; четвертые и пятые, что это — большой человек“.

Большой человек, внешнее описание которого дает точный портрет Л. Толстого, на вопросы его последователей: „Что же мне делать? В чем истина? И где спасение?“ отвечает одной только фразой: „Не противьтесь злу насилем“. Но это не удовлетворяет никого, не удовлетворяет и нашего героя, хотя он и чувствует какую-то правду в этих словах.

В этом рассказе, как и в повести Гаршина, чувствуется внутреннее противодействие толстовству, нежелание солидаризоваться с ним, но в то же время какая-то сила настоятельно влечет рассказчика к Большому человеку. Иван Петрович Кузнецов возмущен проповедью Толстого о непротивлении. „Что же это — ребячество или злая шутка? — думает он. Но непосредственно за этим следует признание: „И, тем не менее, когда я вдруг припомнил их [слушателей] лица в тот злополучный момент, когда они услышали секрет Большого человека, для меня стало ясно, что... что то, что он сказал, должно было сказать“.

Чрезвычайно поучителен тот урок („О, какой урок он дал нам!“), который извлек маленький человек из толстовства: „мужичьи дети“ должны вернуться „туда, назад“, в деревню, чтобы предупредить других о бесплодности того пути, по

которому шли вырвавшиеся в город дети народа. Здесь уже явственно звучит реакционная нота, нота отказа от былых революционных стремлений. Итак, „Мои видения“ Златовратского стоят никак не ближе к идейному уровню передовой оппозиционной мысли 80-х гг., нежели „Надежда Николаевна“.

Если мы сопоставили гаршинскую повесть с ее „сверстниками“ — романом Оболенского и повестью Златовратского (все три произведения появились в 1885 г.), то мы должны будем все же сказать, что колебания Гаршина, выразившиеся в повести „Надежда Николаевна“, конечно, не имели столь ярко выраженного реакционного смысла, как в романе Оболенского. Правда, толстовская идея непротivления, несомненно, влечет его, и поэтому он оказывается безусловно ниже передовых представителей радикально-народнической и даже либеральной мысли. Но в этом отношении, как мы видели, он не одинок. Колебания в сторону толстовства при несомненных следах внутреннего противодействия ему сближают его с таким писателем, как Златовратский. Поэтому, на основании одной лишь „Надежды Николаевны“ мы не могли бы говорить о значительном приближении Гаршина к толстовству, если бы последующие произведения его не подтвердили этой мысли.

„Сказание о гордом Аггее“ свидетельствует о дальнейшем внедрении элементов толстовского учения в творчество Гаршина. Самое обращение к жанру религиозно-учительной легенды также в высокой степени характерно. Этот жанр культивировался толстовским „Посредником“, для которого и предназначался рассказ Гаршина. Нужно сказать, что писатели-народники, не отказываясь от сотрудничества в „Посреднике“, все же старательно избегали этого жанра, стараясь держаться в пределах реализма. Это же можно сказать и о либеральной литературе. Так, среди народных изданий „Русского Богатства“ мы не найдем рассказов с религиозно-мистическим сюжетом. Этот жанр осуждался прогрессивной журналистикой как рассадник мистицизма и суеверия в народе. В рецензии на „Сказание о Флоре Римлянине“ Короленко „Русская Мысль“, целиком присоединяясь к заключенной в этом рассказе критике толстовского учения о непротivлении, все же неодобрительно указывает автору на вставленную в „Сказание“ притчу об ангеле Неведения:

„...в настоящее время не представляется никакой надобности подкреплять жизненно-правильную мысль ссылками на

что либо фантастическое, вымышленное, а потому самому и неверное. Все эти рассказы об ангелах и о вымышленных чудесах производят совершенно обратное впечатление тому, на какое они рассчитаны; такие рассказы сбивают лишь с толку читателя и подрывают в нем доверие к правильности самой идеи, для подкрепления которой потребовалось вмешательство небывалого чуда".²⁹

Точно так же составители знаменитой книги „Что читать народу“ на этом же основании бракуют даже толстовскую „Свечку“.

„...опасаясь, чтобы рассказ „Свечка“ не послужил... поддержкой суеверий и мистицизма в народе... мы не решаемся рекомендовать его для народного чтения“.³⁰

Эти соображения были совершенно неприемлемы для руководителей „Посредника“, которые сознательно стремились к возрождению религиозно-учительных жанров. Предисловие к сборнику „Цветник“, составленному как раз из притч и легенд, целиком посвящено защите этого рода произведений:

„Многие люди и особенно дети, читая историю, сказку, легенду, басню, прежде всего спрашивают: правда ли то, что описывается; и часто, если видят, что то, что описывается не могло случиться, то говорят: это пустая выдумка и это неправда. Люди, которые судят так, судят неправильно. Правду узнает не тот, кто узнает только то, что было, есть и бывает, а тот, кто узнает, что должно быть по воле бога“.

„Какие бы чудеса ни описывались, какие бы звери ни разговаривали по-людски, какие бы ковры-самолеты ни переносили людей, — и легенды, и притчи, и сказки будут правда, если в них будет правда царствия божия“.³¹

Издатели „Посредника“ не могли отказаться от этого жанра, так как он вполне отвечал тому критерию хорошего произведения, которое они формулировали следующим образом

„Хорошим, — писали они, — мы считаем содержание, возможно ближе выражающее учение Христа и, в крайнем случае, ни в чем не противоречащее этому учению, и притом изложенное в форме, доступной массе и удовлетворяющей ее потребностям“.

Для своего дебюта в „Посреднике“ Гаршин выбрал именно этот типично толстовский жанр.

Сюжет гаршинского „Сказания“ заимствован из старинной легенды о гордом царе, наказанном за свою гордость времен-

ным лишением сана. Царь повелел выдрать из священного писания лист, в котором содержалось изречение: „богатые обнищают, а нищие обогатеют“, и за это он понес суровое наказание: ангел господень принял его образ и стал царем, царь же — нищим. Раскаившись в своей гордыне, он был прощен, вернулся на царство и стал править кротко и милостиво ³².

Гаршин переработал старинную легенду, и пути этой переработки показывают систематическое приспособление ее к толстовской морали и стилю толстовских „народных“ рассказов.

Начальные скупые слова легенды: „Бысть во граде Фелумении царь Агей славен зело“ развернуты Гаршиным в значительный эпизод о власти и могуществе гордого правителя, в котором подчеркивается его отдаленность от людей, от слуг, от жены, от подданных, его одиночество.

„Жил такой Аггей одинок, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет ничего знать и стоит на своем низеньком помосте; думает, что одно это место его достойно: хоть одиноко, да высоко“.

Здесь Гаршин возвращается к своей старой теме — теме губительности одиночества, только раньше это было одиночество эгоистически-замкнутого в себе интеллигента, теперь это гордое одиночество властного человека.

Эта тема, которую Гаршин внес от себя в пересказ старинной легенды, находит дальнейшее развитие в процессе переработки повести. В оригинале эпизод покаяния Аггея передается следующим образом:

„Агей царь прииде в незнаемый град и нанятся у хрестьянина работати на лето, но ничего не умеет. Хрестьянин же ему отказал. Он же нача плакати и поиде от града того, и сretoша его на пути том нищие. Он же рече им: «Поимите, братие, мене с собою, понеже человек убог есмь, работать не умею, а просить стыжуся. Что мне велите, и я учну трудитися». Они же поимша его с собою и даша ему суму носити. Егда же приидоша к наслегу ночевати, и повелеша ему баню топити и воду носити и постелю под себя слати. Он же восплакася горко и жалостно зело: «увы мне, окаянному, что се сотворих, бога прогневах, сам же царства лишихся и царицы отсах, погибель себе сотворих, а все пострадах за слово божие. Истинное то, а не ложное есть божественное писание“».

Итак, в оригинале покаяние Аггея есть результат того унижения, которое он испытал на службе нищим, и которое наглядно подтвердило ему истинность божественного писания, самая же служба нищим для него нечто вынужденное, навязанное ему внешними обстоятельствами. У Гаршина, напротив, Аггей попадает на службу нищим в результате внутреннего переворота; для гаршинского Аггея это — не следствие горькой необходимости, а добровольный подвиг, предпринятый ради „служения людям“.

„И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что не за выданный лист наказал его господь, а за всю жизнь. „Прогневал я господя, думает, и будет ли мне теперь пощада и спасение?“ Долго лежал он и плакал, каюсь в грехе своем и прося у бога помощи и силы. И послал ему господь силу. Рассветало; Аггей встал и вышел из леса и пошел на светлый божий мир к людям“.

Итак, вот что значит в „Сказании о гордом Аггее“ служба людям — это удаление от мирской суеты, идеал странствующего нищего, отказ от какой бы то ни было общественной деятельности, — словом, толстовский идеал „неделания“ и нравственного самоусовершенствования. Отсюда и знаменательная переделка финала: в подлиннике Аггей возвращается на царство с тем, чтобы по-новому править страной, у Гаршина Аггей отказывается от царства и удаляется от людей к слепой нищей братии.

Как видим, вновь подняв свою старую тему об одиночестве, Гаршин видоизменил ее в этой повести в духе толстовского аскетизма и квиетизма. Тяга в народ, выраженная в прежних произведениях Гаршина, сохранилась и здесь, но приобрела совершенно определенные очертания: не руководить народом, не просвещать его, а „служить“ сирым и убогим, стать „служгой нищих“ — вот идеал Гаршина в „Сказании о гордом Аггее“.

Толстовские тенденции Гаршин старается проводить и в мелочах. Возьмем эпизод встречи нагого правителя с пастухом. Бесхитростный автор подлинника строит этот эпизод очень просто: голый Аггей, встретившись с пастухом, называет себя — царем; возмущенный этой нагостью пастух „нача его бити кнутом и трубою, царь же нача плакати и поиде во град наг“. Гаршин здесь прежде всего устранил патристическую

мотивировку гнева пастуха: пастух стал бить Аггея не за узурпацию царского имени, а за то, что Аггей сам бросился на пастуха, который не признал в нем правителя. Но дальше начинается переработка эпизода в духе толстовской морали. Побив Аггея, пастух сразу пожалел его, вернул и дал мешок одетая; Аггей горит злобой на вора, похитившего его платье, а заодно решает наказать и пастуха, когда вновь вернется к власти, но вспоминает про подаренную ему одежду и устыжается. Эпизод, как мы видим, переработан по всем правилам толстовского учения о силе добра: жалость в душе пастуха берет верх над злобой и, в свою очередь, родит добрые чувства в душе Аггея: стоит только сделать добро ненавидящему вас, как тот сразу же устыдится и отбросит все свои злые побуждения.

В стилизованном отношении Гаршин при переработке подлинника также всецело следует манере толстовских народных легенд: он дает детальную натуралистическую разработку отдельных бытовых эпизодов при фантастичности всего сюжета.

Так, например, описание оленя, за которым охотится Аггей, в подлиннике дано одной фразой: „Бе же елень той видением прекрасен зело и томен“. Вот во что это превращается у Гаршина: „Не видал такого зверя и сам Аггей: рослый и гладкий, морда тонкая и умная; рога, как дерево ветвистое, от конца до конца целая сажень. Шерсть гная, блестит, как лощная; ляжки белые, как снег“.

По этому же принципу натуралистической детализации разработан и эпизод охоты, имеющий большое сюжетное значение, так как на охоте царь лишается своей одежды, откуда и берут начало все его злоключения. В подлиннике опять-таки дается только фабульный стержень: „Царь же рече отроком своим юношам: стойте зде, аз уловлю един еленя. И погна вслед его, елень же побеже за реку. Царь же привяза коня своего и поплы за реку“.

Гаршин, прежде чем привести оленя к реке, подробно разрабатывает эпизод погони. Также натуралистически разрабатывается и погоня за уплывающим оленем, в результате которой правитель лишается своей одежды:

„Гонялся он за ним пол-дня; видит, наконец, что олень к реке бежит. «Ну, думает, если направо пойдет — пропал, а налево — мой». Налево река луку сделала и некуда зверю

было оттуда уйти: сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево; задрожало у Аггея сердце от радости. Скачет, а сам думает: «Скоро река, некуда тебе уйти». Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнал и он коня в воду. Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею, а дальше нога и дна не достает. Повернул Аггей назад на берег, думает: «Олень от меня и так не уйдет, а на такой быстрине, пожалуй, и коня утопишь». Слез с коня, привязал его к кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду».

И непосредственно вслед за этим натуралистически детализированным описанием идет эпизод с ангелом, уносящим одежду Аггея. Такие контрасты натуралистических и фантастических мотивов опять-таки вполне в стиле толстовских народных легенд, где этот прием выполнял функцию создания иллюзорной реальности явно фантастических положений.

Мы приходим к выводу, что „Сказание о гордом Аггее“ и по назначению („Посредник“), и по жанру, и по стилю и по содержанию вполне соответствует толстовским принципам. По жанру — это религиозно-учительная легенда, по стилю — „народный рассказ“, построенный на реалистической детализации фантастического сюжета, с ангелом, чудесами и т. п., по содержанию — выражение идей смирения, самоусовершенствования, отказа от общественной деятельности.

Дальнейшее развитие этих идей мы находим в „Сигнале“. Подобно тому, как „Сказание о гордом Аггее“ знаменует вырождение прежних идей Гаршина о гибельности социального одиночества и превращение этих идей в полную свою противоположность, точно так же и „Сигнал“ отражает значительное изменение прежней апологии жертвенности. Этот рассказ всегда привлекал и сейчас привлекает читателя чувствами горячего человеколюбия, альтруизма и тем высоким героизмом, которое сказалось в эпизоде спасения Семеном поезда, переполненного не подозревающими опасности пассажирами. Это — одна сторона содержания „Сигнала“, которая до сего дня сохраняет свою ценность и обаяние. Но есть и другая.

Если раньше („Красный цветок“) Гаршин воспевал жертвенность в борьбе „со злом“, что объективно означало утверждение революционной идеи, то теперь в „Сигнале“ он, возвеличивая эту жертвенность как начало, противоположное борьбе, что объективно означает отрицание этой идеи.

Контрастирующие образы рассказа — Семен и Василий — и выражают борьбу этих начал. Мораль Семена очень полно выражается немногими его словами: „Уж кому какую талан-судьбу господь даст, так уж и есть“. „...уж есть на то от бога положение“. „Что-ж в будке... ничего, жить можно“.

Василий, в противоположность евангельскому смирению Семена, горит злобой на угнетателей, весь проникнут настроениями борьбы за свое право на жизнь и достаток: „не талан-судьба нам с тобою век заедает, а люди“. „Коли всякую скверность на бога вваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком надо быть, а скотом“. „Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье. Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь — выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм“. (Последние две фразы в издании „Посредника“ выпущены, очевидно, по цензурным соображениям. Г. Б.) Объективно образ Василия отражает большую силу революционного протеста пролетаризованного крестьянина, но теперь образ гордого и негнувшегося человека не привлекает Гаршина, как он привлекал его в „Attalea princeps“. Теперь конфидендом автора является христианский смиренник Семен, самый образ которого является прямым отрицанием борьбы. Гаршин заставил раскаявшегося Василия подхватить семеново знамя и тем самым встал на точку зрения толстовского непротивления, суть которого именно и сводится к отказу от борьбы. Как видим, „Сигнал“ вполне отвечает тем задачам, которые ставил перед собой „Посредник“.

Идеологию „Сигнала“ и „Сказания о гордом Аггее“, разумеется, нельзя объяснить своеобразным „цензурным“ гнетом руководителей этого издательства. Народники и близкие к народничеству писатели, несмотря на крайнюю идейную непримиримость руководителей „Посредника“, сотрудничая в этом издании, все же сумели сохранить свое лицо, сумели отразить преимущественно сильные, прогрессивные стороны

толстовства. Так, они дали „Посреднику“ произведения о кулачестве, проникнутые подлинной мужицкой ненавистью против кулака. К числу таких произведений относится „Повесть о жадном мужике Ермиле“ А. И. Эртеля (1886), испорченная, правда, христиански-покаянной концовкой, но все же давшая образ настоящего кулака-кровопийцы.³³ В этой повести рассказывается история крестьянского парня Ермила, оторвавшегося от деревни и ставшего сначала приказчиком, а затем купцом. Верную службу Ермила купцу Эртель не только не идеализирует, но изображает как прямую измену крестьянским интересам.

Нужно отметить, что в этой повести Ермил получает прощение автора и своих односельчан лишь после того, как, обеднев, он перестает быть кулаком. Глубокая ненависть трудового крестьянства к кулаку автором показывается как нечто вполне естественное и законное.

Напечатанный в „Посреднике“ рассказ П. Засодимского „Черные вороны“³⁴ точно так же проникнут враждой по отношению к кулачеству. Черные вороны — это и есть деревенские кулаки, которых автор называет хищниками и разбойниками. Тот же П. В. Засодимский напечатал в издании „Посредника“ повесть „Чудный камень мудрецов или алхимик“³⁵ из своего сборника „Задушевные рассказы“. Эта повесть напрашивается на сопоставление с гаршинским „Сказанием“.

В основе повести Засодимского также лежит идея гибельности социального отщепенства. Героем ее является человек, презирающий толпу и удалившийся от нее на высоту, недостижимую для забот и волнений реальной жизни.

Старый ученый алхимик ищет камня мудрецов. Он посвятил своей науке всю жизнь. Однажды маленькая цветочница зашла в его башню и оставила букет цветов. Эти цветы напомнили ему о безвозвратно и бесплодно прошедшей за науками жизни. Девочка пришла другой раз, и суровый алхимик дал ей золотой. На следующий день она, заливаясь слезами, позвала его лечить свою больную мать и брата. Впервые за много лет вышел алхимик из своей башни и столкнулся с людской нуждой, болезнями и горем. Все это перевернуло его. Он нашел свой камень, но не там, где искал, не на высотах отвлеченной науки, а в живом общении с угнетенными людьми. Он стал лечить

больных, даже взял в руку указку и сделался учителем. Прежде он чуждался общественных дел, теперь его влечет к ним. Он стал другом бедняков и сам оживился и помолодел. „Весел и смел был взгляд его темных глаз, походка его сделалась бодра, легка, самоуверенна“.

Итак, заканчивает автор, чудесный камень найден...

Найден камень мудрецов;

Мудрецов теперь искать для камня надо.

Как ни умеренны тенденции этой повести, все же они прогрессивнее основной идеи гаршинского „Сказания“ и значительно дальше от правоверного толстовства. Отрешившись от гордого высокомерия и презрительного равнодушия к нищей и невежественной толпе, герой Засодимского не стал пророком „неделания“, не удалился от света, даже не отказался от науки. Его служба народу — это служба врача, учителя, общественного деятеля.

Засодимский, как мы видим, сумел перенести в „Посредник“ те самые народнические взгляды, которые прежде выражал и Гаршин и которые заметно деформировались на новом этапе его творчества.

Засодимский дал „Посреднику“ еще одну повесть из „Задуманных рассказов“ — „Рыжий граф“.³⁶ Это швейцарская средневековая легенда, совершенно лишенная, однако, какого бы то ни было элемента религиозно-мистической фантастики. „Рыжий граф“ — владелец огромного замка, разбойничьего гнезда, как его называет автор, страшный притеснитель крестьян, влюбляется в простую крестьянскую девушку, которая силою гневного обличительного слова заставляет свирепого графа отказаться от своих разбойничьих повадок.

Смирившийся граф отнюдь не становится противником всякого насилия. „Ни разу за все это время граф Ульрих не нападал на деревню и на беззащитных путников, — напротив, он заступался за угнетенных и смирлял разбойников-баронов. Звуки труб и рогов графа Трауменбергского уже не заставляли поселян дрожать от страха. Если трубы звучали, — значит граф направляется или на охоту, или же шел усмирять какого-нибудь буйного и свирепого владельца замка“.

Граф Трауменберг — образ сильного и властного защитника угнетенных, конечно, очень далек от тех образов христианских смиренников, которые создал Гаршин.

Для Гаршина участие в „Посреднике“ было, очевидно, не только средством обращения к огромной крестьянской аудитории (в этом отношении „Посредник“ привлекал даже Салтыкова-Щедрина³⁷), но и результатом его идейного сближения с толстовством.

Столь же тесное сближение с Толстым наметилось в те годы и у другого известного писателя, который, в противоположность Гаршину, пришел к Толстому справа. Это был Н. Лесков. Лесков дал в 80-х гг. „Посреднику“ три рассказа: „Христос в гостях у мужика“ (1886), „Совестный Данила“ (1889) и „Прекрасная Аза“ (1889).³⁸ Любопытно отметить, что эти произведения и по жанру и по тенденциям родственны гаршинским „Сказанию“ и „Сигналу“. Все три рассказа Лескова разрабатывают жанр религиозно-учительной легенды и выражают те же идеи смирения и квиетизма, что и названные произведения Гаршина.

Так, „Христос в гостях у мужика“, — это повесть о крестьянине, который поборол в себе ненависть к врагу и „стал навсегда мирен в сердце своем“ (ср. „Сигнал“). „Совестный Данила“ — рассказ о том, как совесть жестоко осудила человека, убившего врага ради спасения своей жизни; он уходит от мира и становится слугой несчастного прокаженного, причем этот уход от мира, как и у Гаршина в „Аггее“, рассматривается как подвиг „служения людям“.

Совпадение Гаршина с Лесковым 80-х гг. является очень существенным дополнительным моментом, характеризующим работу Гаршина в „Посреднике“ как факт не только внешней, но и внутренней истории его творчества.

Перед нами встает вопрос: как сам Гаршин осознавал свою творческую эволюцию в сторону толстовства? Его письма сохранили несомненные свидетельства о том, что субъективно Гаршин считал себя противником толстовского учения.

Так, в 1885 г., в связи с книгой Л. Толстого „В чем моя вера“, он пишет В. М. Латкину:

„Ездил в Москву; повидаться с Львом Николаевичем Толстым не удалось... Я чувствую настоятельную потребность говорить с ним. Мне кажется, что у меня есть сказать ему кое-что. Его последняя вещь [„В чем моя вера“] ужасна. Страшно и жалко становится человека, который до всего доходит „собственным умом“.³⁹

Эта „настоятельная потребность“ говорить с Толстым уже однажды (в 1880 г.) привела Гаршина к нему, но, к сожалению, их беседа не дошла до нас; нужно думать, что, во всяком случае, на этот раз, гаршинское „кое-что“, которое он хотел сообщить Толстому, вряд ли содержало бы одно лишь осуждение толстовских теорий, несмотря на ту отрицательную оценку толстовства, которую он дает в этом письме.

В 1887 г. Гаршин оправдывается против обвинений в толстовстве, брошенных ему братом его Евгением Михайловичем.

„Защищать драму Толстого [„Власть тьмы“] и признавать его благоглупости и особенно „непротивление“ — две вещи совершенно разные, — пишет В. М. Гаршин брату. Тут ты опять наворачиваешь на меня мне совершенно не принадлежащее. Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ним и с Т. не схожусь. Многое в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, например): если ты этого не знал, можешь спросить у Черткова при случае: он скажет тебе, что меня „ихним“ считать невозможно“. ⁴⁰

Это письмо прежде всего показывает, что сочувствие Гаршина толстовству было замечено его окружающими; об этом говорит оправдывающийся тон Гаршина в приведенном письме. Мы имеем об этом еще одно очень важное свидетельство: Гаршин читал свое „Сказание о гордом Аггее“ в заседании Неофилологического общества при Петербургском университете. Присутствовавший на чтении И. А. Шляпкин сообщает, что молодежь осталась недовольна финалом „Сказания“.

„Помню, как молодежь спорила с В. М. и указывала, что это буддизм, что это личный эгоизм, что он, как мудрый царь, больше бы мог внести добра в жизнь, чем простой нищий“, — пишет И. А. Шляпкин. ⁴¹

Понятия буддизма и толстовского неделания, — это, разумеется, синонимы (см. хотя бы цитированную статью Лесевича).

Далее, это письмо показывает, что Гаршин считает свой поворот к толстовству зазорным для себя и потому не только не соглашается со своим корреспондентом, но старается опровергнуть его вывод. Разберем аргументы Гаршина:

„Чертков... скажет... что меня „ихним“ считать невозможно“. Здесь Гаршин несомненно прав, но это еще говорит очень мало: „ихним“ Чертков согласился бы признать только вполне последовательного сторонника каждой буквы толстов-

ского учения; достаточно было бы малейшего расхождения, например, по вопросу об отношении к науке, чтобы не заслужить полного признания такого ортодоксального толстовца, как Чертков.

Однако Гаршин отказывается в этом письме и от основы толстовской догмы, — от учения о „непротивлении“, причем критерием соответствия своих взглядов толстовскому учению он, избирает опять-таки одобрение Черткова. Разумеется, вполне возможно, что и в этом пункте он не был полным единомышленником Черткова. Гаршин, например, вполне мог не разделять бросающихся в глаза нелепых крайностей этого учения, и на этом основании считать себя противником „непротивления“. Основой теории непротивления является, конечно, например, не требование отказа от помощи убиваемому ребенку, а отстранение от общественной борьбы и отрицание всякого насилия. В смещении основы теории непротивления с ее нелепыми крайностями повинна, между прочим, почти вся народническая критика, которая в борьбе с непротивленчеством шла по легкому пути высмеивания его очевидных нелепостей. Так, даже Михайловский свою критику непротивления строит на разборе рассказа Толстого „Крестник“, отразившего как раз крайности этого учения. Так же поступает и Скабичевский, который думает сильнейшим образом уязвить Толстого, когда приводит признание одной его последовательницы, которая никак не могла согласиться с тем, что она должна играть роль пассивной зрительницы в случае, если кто-либо станет убивать ее детей.⁴²

В. А. Фаусек, вспоминая об отношении Гаршина к толстовству, также сообщает, что „учение о непротивлении злу было ему несимпатично“. Но далее следует характерное сообщение: „Он любил ссылаться при этом на русскую историю, на наше присутствие татар, например, и применять к таким явлениям теорию непротивления злу, в виде *deductio ad absurdum*“.⁴³

Это свидетельство Фаусека подтверждает нашу мысль: Гаршин мог спорить против очевидных абсурдов теории непротивления и на этом основании считать себя ее противником.

Но каково бы ни было субъективное осмысление писателем своей идейной позиции, объективная эволюция его определяется прежде всего развитием его художественного творчества. Художественное же творчество Гаршина за период 1883—

1887 г. показывает прежде всего рост отрицательного отношения к какому бы то ни было насилию, независимо от целей его. Эта позиция неприятия насилия, даже ради защиты угнетенных, неизбежно должна была обернуться и против революционного насилия. Несомненным доказательством этого является последняя статья Гаршина о живописи „Заметки о художественных выставках“, написанная в 1887 г. Говоря о „Боярыне Морозовой“ Сурикова, Гаршин обращает внимание на фигуру ехидно усмевающегося попа.

„Я должен признаться,—говорит Гаршин,—что, по моему мнению, в изображении этого попа художник не совсем прав. Очевидно, он не любит этого попа, он немножко даже подчеркивает: смотрите, подлый человек рад насилию. Так задуманный поп выполнен необыкновенно живо и хорошо. Но если разобрать, кто был настоящим *внутренним* насильником, то, окажется, пожалуй, что не угнетающие [у Гаршина сказано: „не угнетаемые“. Эта очевидная ошибка первопечатного текста—Сев. Вестн., 1887, № 3, стр. 107 — сохранена во всех последующих изданиях этой статьи]. О, дайте этой Морозовой, дайте вдохновляющему ее, отсутствующему здесь Аввакуму власть — повсюду зажглись бы костры, воздвиглись бы виселицы и плахи, рекой полилась бы кровь, и бездушные призраки приняли бы многую жертву“.

Итак, Гаршин упрекает здесь Сурикова за то, что он выступает только против насилия угнетателей; он должен был, по мнению Гаршина, выступить и против внутреннего, потенциального насилия угнетаемых, — таков смысл этой цитаты, и таков смысл „непротивленчества“ вообще.

Во всяком случае, внутренняя потребность считать себя противником „непротивления“ показывает, что Гаршин сам рассматривал принятие этой теории как измену прежним своим прогрессивным взглядам. Он шел, следовательно, к толстовству с боями, но все же, несомненно, если не пришел вполне, то приблизился к нему, как об этом свидетельствуют документы его творчества, и приблизился именно к слабым сторонам учения Л. Толстого, восприняв идеи смирения, самоусовершенствования, непротивления. Сильные стороны толстовства: „беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины проти-

воречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс“ (Ленин, Соч., XII, стр. 332) в его творчестве последних лет отражения не нашли.

Однако, приблизившись к толстовству, Гаршин, как мы видели, не почувствовал внутреннего удовлетворения. Он не стал человеком решенных вопросов. В своем дальнейшем развитии он, возможно, сумел бы преодолеть эти колебания. Но преждевременная смерть внезапно оборвала его творчество и его искания.

Уже первые литературные шаги В. М. Гаршина становятся объектом литературной борьбы. Эта борьба разгорается вокруг центральной идеи творчества Гаршина — пессимизма. Правда, отзыв Буренина о „Четырех днях“ Гаршина, положивший начало известности молодого писателя, еще естественно вопроса о пессимизме не касается; но он и не является началом борьбы вокруг творчества Гаршина. Этот сочувственный отзыв рисует автора „Четырех дней“ объективным и беспристрастным наблюдателем, передавшим свои непосредственные впечатления о войне.¹

В. Буренин (сознательно или бессознательно) совершенно игнорирует истинный общественный смысл рассказа В. Гаршина, явившегося, как об этом говорилось выше, выражением переоценки апологетического отношения к будто бы „освободительной“ войне. Буренин придает рассказу Гаршина характер отвлеченного гуманистического отвращения ко всякой войне, и в этом он как-будто даже солидаризируется с автором.

Эти гуманные настроения были совершенно несвойственны „Новому Времени“ и самому Буренину в начале войны, но к концу ее общие рассуждения о „стремлении человеческой души к миру и жизни“, не представляя ничего антиправительственного, могли вместе с тем составить почву для приятия даже такого рассказа, как „Четыре дня“, при условии замалчивания его радикально-демократической тенденции.

Что касается пессимистических рассказов Гаршина, то их проблемная заостренность не могла дать почвы для подобного безобидного поощрения. Проблема пессимизма, как мы помним, была частью общего вопроса об отношении к социально-политическим условиям России, и потому посвященные этой проблеме рассказы Гаршина очень быстро становятся предметом страстной литературно-политической борьбы.

Относительно прогрессивный, радикальный смысл гаршинского мировосприятия сразу обращает на себя внимание народнической критики, которая и рассматривает его произведения как выражение народнического протеста против условий российского режима.

„Нравственное воздействие очерков Гаршина на читателя может заключаться только в том, чтобы передать ему часть той горечи, которая накапливается на дне души каждого мало-мальски чуткого человека, когда он видит победу Аримана русской жизни над ее Ормуздом“, — пишет уже в 1880 г. С. Венгеров в журнале „Слово“. Острая меланхолия разлита по всем очеркам г. Гаршина, и в этом их общественное значение“.²

Итак, уже в этом раннем отзыве устанавливается „гражданственный“, „обличающий“ характер гаршинского пессимизма. Вот первая черта, с которой мы сталкиваемся при изучении восприятия гаршинского пессимизма его современниками. Далее Венгеров еще ближе характеризует сущность „острой меланхолии“ рассказов Гаршина. Касаясь „Художников“, он защищает писателя от возможных обвинений его в „упразднении искусства“. Венгеров считает, что такое обвинение было бы законно, если бы Рябинин, бросив живопись, „преуспел“ на новом поприще. Тогда можно было бы думать, что автор ставит учительство выше искусства. Но, по Гаршину, Рябинин не преуспел.

„Значит, не в обучении грамоте тут суть... А суть в том, что молодому художнику *хотелось яснее подслушать биение пульса народной жизни, хотелось своими собственными глазами подсмотреть возможность... Словом, хотелось много, преуспеть в котором редко удается*“ (курсив наш. Г. Б.).

Венгеров, очевидно, намекает здесь на то, что Рябинин стал в деревне едва ли не пропагандистом, во всяком случае предпринял нечто очень значительное, „преуспеть в котором редко удается“. В этом Венгеров видит основу „острой меланхолии“ „Художников“, причем он без всяких оговорок присоединяется к так понятому пессимизму рассказов Гаршина. Это невольно вызывает предположение, что полное и суммарное приятие гаршинского пессимизма могло означать не только присоединение к заключенному в этой концепции протесту против социально-политических условий русского общества, но и оправдание отхода от активной политической

деятельности. В цитированном отзыве Венгерова последний мотив звучит довольно ясно.

Такую же полную и безоговорочную солидаризацию с гаршинским пессимизмом мы встретим и в отзыве А. Скабичевского (Алкандрова) на первую книгу рассказов Гаршина.³ Скабичевский характеризует пессимизм героев Гаршина как современный гамлетизм. Происхождение современного гамлетизма Скабичевский видит в том, что „слишком назойливые тревоги жизни нашей смутной эпохи отвлекают наиболее талантливые и чуткие натуры от мирных бесед с музами и втягивают их в свои в мрачные пучины“.

Именно этот гамлетизм заставил Рябинина „бежать от искусства“; „...и он кончает тем, — пишет Скабичевский, — что отдается непосредственному делу борьбы с безобразиями жизни“. Здесь Скабичевский, в противоположность Венгерову, солидаризуется с Рябининым, уходящим в деревню, а не разочаровывающимся в ней. Таким образом, Скабичевский указывает здесь на внутреннюю потенциальную активность пессимизма Гаршина. Так понятый „гамлетизм“ поворачивается против тех условий русской жизни, с которыми боролись радикальные народники, и в этой интерпретации произведения Гаршина становились оружием радикальной мелкой буржуазии в ее борьбе с самодержавно-бюрократическим строем. Но Скабичевский стоит на этой позиции очень не твердо, и в той же статье, касаясь „*Attalea princeps*“, он рассматривает „гамлетизм“ уже не как переходную ступень к „борьбе с безобразиями жизни“, а как своего рода благородную болезнь пессимистической безнадежности, причем также безоговорочно присоединяется и к этому виду гамлетизма.

„*Attalea princeps*“ с ее стремлением к чистому воздуху и небесному простору, с ее призывом ко всем прочим растениям расти выше и шире — очевидно олицетворяет собою передовую и лучшую часть нашей интеллигенции“.

„...только то? И это все, из за чего томились и страдали мы так долго? С таким восклицанием уходит у нас в могилу чуть ли не каждый истинно-интеллигентный человек, чуть ли не каждое поколение. Таким-то образом, мы имеем здесь дело с гамлетизмом совершенно особенного рода, вызываемым не теми или другими частными обстоятельствами, а суммой всех условий нашей жизни. Это гамлетизм нашего века,

лежащий в основах всех наших общественных отношений. Сердитесь сколько угодно на г. Гаршина, зачем он раскрывает перед вами эту горькую скорбь своего века и бережит раны, проникающие глубоко в ваши сердца, но согласитесь, что он в тысячу раз прав в своем гамлетизме и что гамлетизм этот отнюдь не случайное, личное качество автора и не пустой каприз больной фантазии, а болезнь общая всем нам³.

Здесь уже гаршинский „гамлетизм“ перестает быть орудием борьбы и становится оправданием отказа от борьбы. Ссылка на „общественные отношения“, порождающие этот вид „гамлетизма“, имеет здесь смысл указания на неизбежность этой „общей болезни“ и потому еще больше подчеркивает законность отказа от борьбы.

Отзывы Венгерова и Скабичевского чрезвычайно знаменательны в том отношении, что они показывают нам, как в условиях 80-х гг. под флагом безоговорочной солидаризации с Гаршиным и его героями могли скрываться тенденции к использованию творчества Гаршина в интересах право-народнических групп. В этом отношении появление статьи Скабичевского в журнале „Устой“, конечно, является фактом вполне закономерным.⁴

Органы радикального народничества и, прежде всего, „Отечественные Записки“ безусловно избегали рассматривать героев Гаршина как единственно возможных носителей протеста против условий современного строя. Мы помним, что радикальное народничество, признавая пессимизм неизбежным и даже прогрессивным умственным движением, в то же время подчеркивало необходимость активного, действенного выхода из пессимистического кризиса. В этом требовании перспективы заключалось напоминание о том, что существует революционное подполье, и именно это требование перспективы бросало революционный свет на „пессимистические“ концепции народнической литературы и публицистики.

Поэтому радикально народническая критика рассматривала мировоззрение героев Гаршина не столько как выражение готовых ответов на общественные вопросы, сколько как свидетельство о пробуждении интеллигенции, о поисках выхода, и именно в этом видела прогрессивный характер гаршинского пессимизма.

Чрезвычайно показательна в этом отношении анонимная рецензия „Отечественных Записок“ на первый сборник рассказов Гаршина.⁵

„Г-н Гаршин принадлежит бесспорно к числу тех, пока еще к несчастью немногих, молодых писателей, которые чрезвычайно верно сумели схватить и показать обществу те два общественных типа, враждебные друг другу, которые все резче и резче выделяются на арене общественной жизни. С одной стороны, вы видите представителей щучьих идеалов и носителей девиза: «грабь», скрытых под более или менее приличною маскою, а иногда и совершенно открытых; с другой — *пробуждающегося человека, который ошущью, но уже настойчиво ищет света и выхода из той бездны мрака и лжи, куда его повергла тысячелетняя история*“.

К первым рецензент относит Кудряшова и Дедова.

„Но Кудряшovy и Дедовы не главные типы г. Гаршина: он тяготеет преимущественно к людям второй категории, с которыми хотя первые и перепутаны общественными условиями и взаимными отношениями, но которые совсем другие люди, люди с другими целями, стремлениями и надеждами. На этих-то «других» людях преимущественно и останавливается г. Гаршин“.

„...в сущности, у г. Гаршина только один герой, в разных только лицах, с разными индивидуальными отличиями *Это — человек, задумавшийся над самим собою, над окружающим миром, с его горем и страданиями, человек неудовлетворенный*“.

Итак, в противоположность Скабичевскому, анонимный рецензент „Отечественных записок“ не отождествляет себя с героем Гаршина. Этот герой дорог ему потому, что он человек *задумавшийся и неудовлетворенный*. Иначе говоря, он видит в герое Гаршина не законченного борца, а человека, только подходящего к осознанию необходимости общественной борьбы. Поэтому, тот пессимизм, который влечет героя к самоубийству, не встретит его безоговорочного сочувствия. Вот что пишет он о рассказе „Ночь“:

„Он [герой „Ночи“] проанализировал себя, все окружающее и видит, что кругом идет оргия, в которой он не может принять участия. Оставаться холодным зрителем, в качестве мирного попустителя, о! это подло: а между тем,

он делает эту подлость и не может ее не делать, потому что живет и терпит. Значит, нужно сократить себя, уйти, убежать, чтобы хоть совесть не потерять. Он решается и выстрелом разрубает узел жизни. Вот исход.

...Неужели нет другого исхода, г. Гаршин? «Есть», отвечает г. Гаршин словами самоистребляющегося человека“.

Рецензент так понимает развязку „Ночи“:

„Нужно выбирать одно из двух: или жить во имя щучьих идеалов, или силою любви и страдания искупить несправедливость и зло одряхлевшего и развращенного мира. Середины нет. Для тех, кто хочет держаться середины, развязка в могиле“.

Вот это неперемнное требование активного разрешения проблемы пессимизма и определяло отношение народнической критики к героям Гаршина и к самому писателю. Итак, признание неизбежности пессимистических настроений, порожденных социально-политическими условиями русской жизни, но с неперменной перспективой на общественную борьбу, неперменно с образом активного и самоотверженного борца, как той искомой фигуры, которая должна чувствоваться за этими пессимистическими построениями, вот тот критерий, которым измерялась ценность произведений Гаршина в радикально-народнической критике.

Чрезвычайно показательным документом приложения этого критерия к первому сборнику рассказов Гаршина является широкоизвестная статья народовольца П. Якубовича (Гарусова), помещенная в „Русском Богатстве“.⁶

Корни пессимизма Гаршина Гарусов видит в тех условиях общеевропейской жизни, которые породили Бодлера, „плюс некоторые важные, специально русские черты жизни, завоевавшие место и силу в последние годы“ (курсив наш. Г. Б.).

Что Якубович, говоря о специально русских чертах, завоевавших себе место и силу в последние годы, имеет в виду развернувшееся революционное движение, не подлежит никакому сомнению. „Они, эти черты, — поясняет он далее свою мысль, — были для Гаршина тормозом в развитии его отчаяния и скептицизма: но они же усилили мучительность процесса этого развития, они же увеличили его муки, они же, разрядив окружающий мрак, сделали его, быть может, более зловещим, более способным леденить кровь и наводить ужас...“

Итак, по мысли Якубовича, революционное движение предохранило Гаршина от полной бесперспективности и оно же, с другой стороны, показало ему действительность в мрачном и зловещем свете и обусловило непримиримое отношение к ней: человек, подвергшийся влиянию революционных идей, спокоен быть не может. Гарусов, как мы видим, дает несомненно очень высокую оценку социальной сущности гаршинского пессимизма, который он рассматривает, как проявление глубокой неудовлетворенности капиталистической действительностью („общекультурные условия современной Европы“), в соединении с влиянием русского революционного движения („специально русские черты“).

„Эти терзания, — утверждает Якубович, — не есть терзания человека одной какой-либо партии, а знакомы всей лучшей части нашей интеллигенции“.

Здесь устанавливается объективная прогрессивность и даже революционность пессимизма Гаршина, что, однако, не означает полной солидаризации с его героями. Больше того, Якубович не верит в возможность перерождения его героев, и потому перерождение героя „Ночи“ он считает самообманом. „Гамлеты не способны так скоро перерождаться, так скоро из нюней делаться спокойными борцами, самоотверженными носителями идей“. Итак, для Якубовича герой Гаршина — это тип переходный, промежуточный. „Перед Гамлетом наших дней стоит роковая альтернатива: жить, как все или верить и жить, как единицы. Но Гамлет неспособен ни к тому, ни к другому“. Тот факт, что герой Гаршина неспособен „жить, как все“, заставляет Якубовича отнести к нему с сочувствием и признать его явлением прогрессивным, но все же не вполне своим героем: вполне своим героем для народовольца Якубовича будет „спокойный борец“, „самоотверженный носитель идей“, который „верит и живет, как единицы“, т. е. активный революционер. Герой Гаршина, разбуженный революционным движением, отошел от обывательской безидейности и самоуспокоенности и тем самым сделал шаг по направлению к типу революционера-народника; в этом качестве он и приемлем для Якубовича, хотя, по мысли последнего, завершить свой путь он будет не в состоянии. Поэтому то, не веря в возможность революционного перерождения „современного Гамлета“, Якубович не желает Гаршину „просветления его мирозерцания,

смягчения его ненависти". В условиях литературно-политической ситуации 80-х гг. это значило бы пожелать Гаршину присоединения к либеральному оптимизму. Так в статье Якубовича Гаршин отграничивается и от либерализма и от революционного народничества, представителями которого были деятели революционного подполья. Переводя эту статью на конкретный политический язык его времени, можно сказать, что Якубович отказывается видеть в Гаршине выражителя настроений революционного подполья, но видит в его пессимизме выражение тех форм протеста, которые были характерны для легального отряда радикального народничества. В самом деле, противопоставление Гаршина, как выражителя „терзаний лучшей части нашей интеллигенции“, тем, кто „верит и живет, как единицы“, другого смысла иметь не могло.

Чтобы еще яснее показать сущность народнической трактовки пессимизма Гаршина, мы нарушим хронологическую последовательность критических отзывов о писателе и обратимся к статьям Михайловского из „Северного Вестника“, относящимся к 1885—1886 гг.⁷

Пессимизм Гаршина Михайловский расценивает как явление безусловно прогрессивное.

„Доставьте себе удовольствие, — пишет он, — перечтите все рассказы Гаршина, и везде или почти везде вы найдете, может быть, не так ярко подчеркнутое, но все одно и то же: лучи все той же скорби о том специальном и высшем оскорблении, которое наносится человеческому достоинству превращением человека в те или другие клапаны, в „пальцы от ноги“.

В этом определении заключен для Михайловского очень большой смысл. Усматривая у Гаршина решительную враждебность „органической“ теории общества, совершенно несовместимой с социально-философской доктриной народничества, Михайловский тем самым указывает на кровную близость писателя к радикальному народничеству. С особой доброжелательностью отмечает он и стремление героя рассказа „Трус“ к единению с коллективом.

В этих же статьях он также выдвигает уже знакомое нам требование активного разрешения пессимистических конфликтов. Михайловский видит в финалах произведений Гаршина какую-то

злую силу, постороннюю героям, которая мешает им обрести окончательный выход из гнетущего их скептицизма.

„Я надеюсь, — говорит Н. Михайловский, — что г. Гаршин когда нибудь разрешит эту коалицию стихийного процесса, выражаемого глупыми и злыми голосами, и посторонних делу обстоятельств; что он предъявит нам, наконец, победу истинно человеческого достоинства, хотя бы в возможности, в перспективе. Не потому мне этого хочется, что человеческое достоинство часто торжествует в сей юдоли плача и беззакония, вследствие чего торжество это должно найти себе отражение в искусстве. Нет, вообще говоря, это торжество пока слишком редкое, но пусть же эта редкость мелькнет в творческой фантазии г. Гаршина, хотя бы только как возможность, и разгонит мрачные тучи безнадежности, заволакивающие его горизонт“.

Это требование Михайловского очень ясно вскрывает отношение радикального народничества к пессимизму Гаршина. Пессимизм признавался явлением вполне законным и желательным, поскольку объектом его было „нынешнее положение вещей“. Известная доля оптимизма, которую Михайловский хочет видеть у Гаршина, должна относиться отнюдь не к сегодняшнему дню, а лишь к тому, что рисовалось народникам как некоторая, хотя и не совсем близкая возможность.

Политический смысл статьи Михайловского тот же, что и статьи Якубовича: необходим протест против основ существующего строя, и пессимизм героев Гаршина выражает недовольство этим строем, отрицание его. Поэтому Гаршин является писателем своим. Но это отрицание должно быть проникнуто мыслью о неизбежности изменения общественного устройства. Такая перспектива должна стать не только объективным выводом из произведений писателя, но и субъективным его убеждением. Эта политическая установка заставляла радикально-народническую критику рассматривать героев Гаршина как людей, сознательно или бессознательно почувствовавших несправедливость современного устройства, но не дошедших (или еще не дошедших) до активной борьбы с ним. Стоило только преувеличить прогрессивное значение пессимистического восприятия действительности — и получалось правонародническое истолкование Гаршина, в духе Венгерова и Скабичевского, и, напротив, стоило сделать политическое ударение

на „умозрительном“ характере пессимизма героев Гаршина — и это неизбежно привело бы к отрицанию тех критических элементов, которые были заложены в его пессимистических рассказах, что означало уже критику Гаршина справа, т. е. с позиций либерализма. Иногда эти либеральные тенденции проникали и на страницы радикально-народнической журналистики.

Прежде всего мы имеем в виду статьи Н. Николадзе „Борцы по-неволе“, помещенную в Отечественных Записках⁸.

Основная мысль этой статьи сформулирована автором в такой категорической формуле: „...никому, конечно, и в голову не может притти мысль — ставить героев г. Гаршина на пьедестал гигантов современности“. Преобладающий у Гаршина тип Николадзе определяет как тип доброго, среднего человека, не наделенного большой силой и страстностью. Герой Гаршина научен любить и негодовать против неправды, но в глубине души он не возмущен, а хочет только отстраниться от участия в зле, но жизнь не дает ему этой возможности.

„...при ином, более нормальном и спокойном течении жизни все эти страдальцы „внутреннего разлада“ являлись бы нам добропорядочными и благодушными гражданами, приурочившими свою деятельность и мирозерцание к потребностям своей безмятежной натуры и приносящими себе и ближнему посильную пользу. Жили бы они про себя, осуществляя идеал мещанского счастья Молотова, делая различные невинные и полезные открытия, точь-в-точь, как миллионы таких прекрасных и безусловно полезных натур живут себе спокойно в Англии и во Франции, в Германии и в Швейцарии, и большинство из них, без всякого сомнения, оказалось бы превосходными деятелями своей скромной сферы... Источник их злосчастий... лежит в том именно обстоятельстве, что судьба навязала им борьбу, требующую несравненно более пламенных чувств и сил, во сто крат могущественнее тех, которыми располагают эти натуры... Без мысли о противодействии и отпоре покоряются они после платонического протеста во имя убеждений, всякой аномалии, как бы противна она ни была“.

Итак, Николадзе настойчиво снижает социальную значимость пессимистического протеста, отразившегося в таких

рассказах, как „Ночь“, „Художники“ или „Трус“. Он подчеркивает, что герой Гаршина — „средний, добрый человек“, но не замечает общественной ценности того, что этот средний человек возмутился, он указывает, что герой Гаршина — не борец по натуре, но умалчивает о том, что этот „не борец“ отвергает все же основы существующего строя. Николадзе далек от тезиса Якубовича о том, что „терзания“ героев Гаршина „свойственны лучшей части интеллигенции“. Напротив, он утверждает ограниченность гаршинского протеста идеалами европейского „мещанского“ счастья. Мы помним, что Якубович выводил пессимизм Гаршина из условий общеевропейской (читай — капиталистической) действительности плюс „специальные условия русской жизни“ последних лет; в противоположность ему Николадзе считает, что в условиях европейского общества герои Гаршина оказались бы вполне в своей сфере.

Таким образом, Николадзе отказывается от того действительного орудия борьбы, которое народники находили в пессимистической концепции Гаршина, чем, по существу, солидаризуется с либеральной оценкой творчества Гаршина. Правда, он при этом иронически и даже презрительно отзывается об европейском идеале „мещанского счастья“, к которому будто бы стремятся герои Гаршина, но на фоне всей его позиции этот выпад против либерализма звучит не больше как „левая фраза“.

Общественное лицо самого Н. Николадзе вполне соответствует общему тону его статьи: Николадзе, хотя и сотрудничал в радикальной прессе, но все же был, по существу, либералом. Таким образом, ни по общественно-политическому облику автора ни по трактовке Гаршина статья Н. Николадзе не может считаться характерной для „Отечественных Записок“. Цитированная нами выше анонимная рецензия „Отечественных Записок“ гораздо естественнее и непосредственнее вытекает из радикально-народнической концепции общественного пессимизма.

В ряд со статьей Н. Николадзе следует поставить и анонимную рецензию на первый сборник Гаршина, помещенную в „Деле“. Эта рецензия принадлежит перу М. А. Протопопова, как показывает ее сопоставление со статьей последнего о Гаршине, появившейся вскоре после смерти писателя.⁹

Не видя, подобно Николадзе, прогрессивных сторон в пессимизме Гаршина, Протопопов резко отрицательно оценивает его творчество, указывая на пассивный характер его скептицизма, на неверие в эффективность борьбы.

„Он [Гаршин] страдает, именно — страдает каким-то странным скептицизмом, каким-то недоверием к жизни и неверием в людей. Наша борьба представляется ему бессмысленной сутолокой, по поводу наших идеалов он спрашивает: только-то? — пишет Протопопов, касаясь „*Attalea princeps*“. Так же сурово относится он и к „Ночи“.

„Мир погибшему, но пусть же его пример послужит нам уроком и предостережением: он дурно, недостойно кончил, он оказался банкротом, он не выполнил своего человеческого и гражданского призвания. Выговорить это была прямая обязанность автора, раз он взялся за изображение подобной темы, и обязанности этой г. Гаршин не исполнил — хуже того, он даже не подозревал ее“.

„Во всех его [Алексея Петровича] гамлетизированных монологах он только одну фразу нашел бессмысленной и жестокой, как будто бы не сплошь бессмысленно все это рефлектирующее самогрызение и точно есть худшая жестокость, как в заботах о какой-то идеальной правде забывать об очень, кажется, „правдивых“ реальных страданиях миллионов людей“.

Правда, столь суровый отзыв объясняется отчасти тем, что Протопопов понял финал „Ночи“, как самоубийство. Но ведь так же понял его и Михайловский, однако, он увидел в пессимизме Алексея Петровича как раз обратное тому, что усмотрел в нем Протопопов: не эгоистическое „самогрызение“, а „скорбь“, которая порождается осознанием лживости и искусственности общественных связей, превращающих человека в „палец от ноги“, т. е. он усмотрел в пессимизме „Ночи“ критику общественного строя. Затусевав критические элементы в творчестве Гаршина, Протопопов тем самым, несмотря на ультралевый тон статьи, протянул руку либерализму.

Только эволюция Рябинина заставила Протопопова несколько смягчить свой приговор Гаршину и позволила оценить его, как писателя, стоящего на перепутье.

Сочувствие уходу Рябинина „в народ“ является единствен-

ной черточкой, свидетельствующей о субъективных симпатиях Протопопова к народничеству, но все его толкование пессимизма Гаршина, обеспложивающее оппозиционный смысл его, несомненно, сближается с либерализмом.

Отношение либеральной критики к Гаршину определялось общей ее позицией по отношению к пессимизму. Мы помним либеральные выпады против народнической „литературной хандры“, против „прострации“ и т. п.

Соответственно этому и пессимизм Гаршина расценивался или как простое „сочинительство“, не имеющее почвы в реальной действительности, или как выражение неумения „найти место в жизни“, или как заблуждение честного человека (что можно было совместить даже с расплывчатым сочувствием общему облику молодого писателя), или же прямо разоблачался как „тенденциозный“ выпад против образованного и достаточного общества.

Так, еще в раннем отзыве о рассказе „Ночь“ Арс. Введенский в либеральной газете „Страна“ обвинял Гаршина в сочинительстве, в неестественности и надуманности.

„«Ночь» г. Вс. Гаршина, — писал он, — хорошенький психологический этюд. Но он страдает тем, что автор выдумал его, сочинил, а не взял из действительной жизни, и потому, рядом с тонким психическим анализом, вообще нередко удающимся автору, читатель встречает натянутые положения, присочиненные ощущения, выдуманные и неестественные эффекты; г. Гарший — талантливый писатель и жалко видеть его сочиняющим, а не пишущим“.¹⁰

Этот небольшой и малосодержательный отзыв все же интересен в том отношении, что он дает самую элементарную форму опорачивания либеральной критикой гаршинского пессимизма — простое отрицание его связи с фактами реальной действительности.

Значительно содержательнее та критика, которой подвергнул Гаршина основной орган русского либерализма — „Вестник Европы“. В отзыве на первый сборник Гаршина рецензент „Вестника Европы“ (подпись — В. А.) уже прямо говорит о социальной опасности мировоззрения писателя.¹¹ Любопытно, что начинается он с умаления идейной значимости Гаршина.

„...автор вообще не является выразителем умственных и нравственных стремлений какой-либо части современного

нам общества, каким он был до известной степени в «Четырех днях».

Однако, как видно, рецензент и сам не был вполне уверен в своем безапелляционном заявлении об отсутствии у Гаршина связи с какой-либо частью общества, потому что несколькими строками ниже он признается, что в мировоззрении Гаршина „мы сталкиваемся с печальным фактом, характеризующим наше время“ (курсив наш. Г. Б.).

„Вестник Европы“ упрекает В. Гаршина в том, что „его воззрения в высшей степени скептически и неопределенны, и читатель выносит из рассказов Гаршина томительно-неопределенное впечатление и такие выводы, с которыми, в сущности, делать решительно нечего“. Рецензент „Вестника Европы“ считает, что пессимизм в рассказе „Художники“ доводит даже до осмеяния искусства и самого стремления к нему. Его убеждает в этом то обстоятельство, что Дедов пишет лишь „тона“ и „тонки“, настоящий же художник Рябинин уходит от искусства, разочаровавшись в возможности увлечь своим талантом светскую толпу.

Наиболее суровую оценку „Вестника Европы“ вызывает, естественно, „Attalea princeps“.

„Какое мрачное воззрение на стремление к свету и свежему воздуху, на судьбу стремящихся и на то, что они встречают, достигая своей цели. Но автор забывает, что если пальме, изнеженной солнцем юга, быть может и можно было сказать: «только-то», то неприлично сказать то же суровой ели севера и что, кроме того, лучше бороться за свою свободу в холоде и под дождем и умереть в этой борьбе, чем постыдно изнывать в рабстве“.

„...ничем неоправдываемая безнадежность, выразившаяся в последнем рассказе, всегда ведет только к бесплодному существованию“.

Пафос гордого стремления к свободе, заключенный в „Attalea princeps“, совершенно обходится либеральным рецензентом. Восхищение Гаршина самоотверженностью борьбы хотя бы и бесплодной, также совершенно не замечается; все содержание аллегорической сказки Гаршина сводится здесь к одной лишь „безнадежности“; эта либеральная оценка сказки Гаршина, совершенно замалчивающая ее героический характер, на многие годы определила критическую традицию в отно-

шении одного из наиболее страстных и свободолюбивых произведений Гаршина.

Ужас писателя перед буржуазным хищничеством, воплощенным в типе инженера Кудряшова („Встреча“), также не мог, понятно, встретить сочувствия со стороны буржуазно-либерального „Вестника Европы“. Автор цитируемого отзыва отказывается признать Кудряшова жизненной фигурой, считая его лишь традиционным типом „классического злодея“.

Никаких положительных черт в мировоззрении Гаршина рецензент не видит. Более того, как бы опасаясь, что пессимистические настроения могут быть возведены в „лозунг“, он спешит предостеречь читателей:

„Отчаяние никогда не будет лозунгом жизни, и кто хочет явиться в ней деятельным участником, должен найти себе дело в ней. А что может делать поэт, писатель, если жизнь представляется ему в ужасающих формах, и какое же влияние он может иметь на читателей?“

„Русская Речь“ в одной из „Критических Бесед“ Евгения Маркова (в 1880 г., в отзыве на рассказ „Ночь“) совершенно недвусмысленно наметила тот общественный лагерь, который в известном смысле действительно делал пессимизм Гаршина своим лозунгом и против которого, по существу, и направляла свои удары либеральная критика.¹²

„Никто не может сказать ничего против добрых намерений беллетристов „Отечественных Записок“ брать на себя чужое горе, — пишет Евгений Марков. — Трудно только поверить их искренности или их обдуманности. Неужели только признав мерзостью и ложью всю обычную жизнь, окружающую нашего брата — интеллигентного человека, неужели только отряхнув прах ног своих на нечестие образованного мира, — можно найти истинное горе и истинные подвиги добра. За горем, если его действительно ищешь, если ему действительно хочешь послужить, и в силах послужить, нечего ходить «туда»“.

„А между тем философы-беллетристы „Отечественных Записок“ словно и не шутя веруют, что в презренной коже цивилизованного и достаточного человека даже самые глубокие душевные муки и житейские несчастья — только праздная забава избалованных паразитов, идеологический вздор, происходящий от лживости и пустоты всей цивилизованной жизни.“

Самый факт написания своего отзыва Евг. Марков объясняет лишь тем, что не считает отразившихся в нем взглядов личной особенностью В. Гаршина.

„Мы не даром остановились на такой в сущности ничтожной вещи, как «Ночь» Всеволода Гаршина, и не даром назвали его героя типическим героем «Отечественных Записок», потому что далеко не в первый раз и далеко не из таких малоавторитетных уст слышали мы эту самоуниженную исповедь кружка, воплощающую в себе то уродливое, искалеченное, жалкое направление мысли, которое мы охарактеризовали в одной из прежних «Критических Бесед» наших «литературною хандрю»“.

В отрицательной оценке „литературной хандры“ „Русская Речь“ совпадает с „Вестником Европы“. Новым пунктом обвинения здесь является указание на то, что герой „Ночи“ хочет отправиться для служения чужому горю „туда“, т. е. в народ, отсюда же вытекает и обличение автора „Ночи“ в антиинтеллигентских взглядах. Но особенно интересно, что Евг. Марков, более откровенный по сравнению с рецензентом „Вестника Европы“, заранее раскрыл карты либеральной журналистики прямым указанием на народнические „Отечественные Записки“, как мишень, на которую направлялись либеральные нападки против В. Гаршина. В самом деле, этот журнал упоминается здесь не потому, что Гаршин являлся его сотрудником, а потому, что его герой объявляется типичным для „кружка“ „Отечественных Записок“.

Л. Е. Оболенский (Созерцатель) в своем журнале „Мысль“, присоединяясь, в общем, к рассмотренным оценкам и охарактеризовав Гаршина как „певца уныния... полного разложения веры в грядущее и в самих себя“, нашел все же возможным выразить удовлетворение рассказом „То, чего не было“. Это произведение, по мнению Л. Оболенского, показывает „как смешны многие претензии, выходящие за пределы наличных сил тех существ, которые с ними носят“.¹³ Эта похвала не менее характерна, чем приведенные выше порицания, и она также не оставляет сомнений в том, что борьба с Гаршиным являлась борьбой с радикальным народничеством.

Кроме того, эти на первый взгляд малозначительные строки намечают возможность использования произведений Гаршина против радикального народничества без открытой и прямой борьбы с самим писателем. В самом деле, рассмот-

реть пессимизм героев Гаршина, как несчастье маленьких людей, сбитых с толку революционными и оппозиционными теориями и потому взваливших на свои плечи невыполнимые задачи, — это и значило сделать творчество Гаршина орудием борьбы с народническим радикализмом.

Эта возможность была использована Ю. Н. Говорухой-Отроком, уже неоднократно упоминавшимся нами. Неслучайно такую задачу взял на себя именно этот писатель-ренегат. Вспомним концепцию пессимизма Говорухи-Отрока: маленький человек попадает под влияние революционных теорий. Эти теории внутренние враждебны ему, они убивают в нем живую душу, энергию и бодрость, подрывают его моральные силы и вызывают мучительный надрыв. В этом корни пессимизма современной молодежи, порожденного не условиями самодержавного русского режима, как изображают дело народники, а „тлетворными“ учениями новейших теоретиков. Возможность выхода из этого мучительного состояния есть: это решительное освобождение от власти революционных теорий и возвращение в лоно самодержавной государственности и православной религии. Это реакционное понимание общественных причин пессимизма Говоруха-Отрок решил применить и к оценке первого сборника В. М. Гаршина.¹⁴

„По внутреннему содержанию большая часть рассказов г. Гаршина тесно связана между собой; во всех автор развивает одну и ту же тему, во всех, под разными названиями, фигурирует один и тот же герой. И этот герой есть маленький человек, рассуждающий или лучше сказать, «убивающийся» над большими вопросами. Как видите, тип современный... как видите, тема не только современная, но больше того, чрезвычайно современная, касающаяся одной из основных болячек нашего взбудораженного времени. В своих рассказах г. Гаршин будто бы взял и собрал разрозненные и отрывочные листки из дневника маленького человека, кем-то и чем-то сбитого с толку“.

Единственный герой Гаршина, не сбитый с толку, это, по мнению Говорухи-Отрока, Василий Иванович из „Встречи“.

„Инстинктивный, маленький здравый смысл подсказывает ему, что чихать выше носа опасно“.

Нетрудно заметить, что под видом раскрытия замысла Гаршина здесь дается реакционное переосмысление его обра-

зов. Презрительное отношение Гаршина к своему „не возмущающемуся“ герою заменяется здесь полным сочувствием. Отвергнутый Гаршиным образ честного, но нравственно дряблого и склонного к примирению с буржуазным хищничеством, интеллигента становится у Говорухи-Отрока единственным образцом „маленького человека“, устоявшего от „чьих-то“ искушений.

„Но вот, — продолжает Говоруха-Отрок, — кто-то и что-то вынул у маленького человека какую-то заклепку — и он, принявшись чихать выше носа, сорвался с рельсов, начал «убиваться» над вопросами, стоящими вне сил и средств его чувства и мысли и, наконец, дошел до того, что узел пришлось развязать пистолетным выстрелом («Ночь»). Вот этим-то маленьким человечком, с вынутой кем-то заклепкою маленького здравого смысла, и занимается г. Гаршин почти во всех своих рассказах“.

Рябинин из „Художников“ рассматривается здесь, как один из этих маленьких людей, вообразивших себя Фаустом. „Совершенно новейший Фауст, конечно исправивший себя и дополнивший сообразно с требованиями журнальных фельетонистов“.

Особенно интересна трактовка „Ночи“: иногда в душу маленького человека проникает на мгновение луч сознания, и тогда он начинает понимать, что

„...Агал и обманывал, отлынивая от жизни и ее суровых запросов во имя призраков и фантомов, созданных своим собственным воображением, — созданных, чтобы как-нибудь заглушить укоряющий голос еще не в конец помраченных здравого чувства и здравого смысла“.

Реакционное переосмысление образа здесь также бросается в глаза: у Гаршина перерождение Алексея Петровича заключается в оформившемся решении его пойти „туда“, в „общее горе“, т. е. как раз навстречу тем „фантомам“, освобождение от которых Говоруха-Отрок приписывает герою рассказа „Ночь“.

В заключение Говоруха-Отрок вскрывает полемическую направленность своей статьи против Гаршина, он признается в том, что его толкование образов Гаршина не совпадает с авторским отношением к ним. Критик упрекает Гаршина в том, что он „не обнажил перед нами души своего героя, не показал нам его таким, каков он есть, а лишь рассказал,

что сам о себе думает маленький человек. Таким образом, типа маленького человека, сбитого с толку, г. Гаршин не создал — не будем доискиваться почему, между прочим, может быть, и вследствие неустановившегося и колеблющегося отношения самого автора к своему герою — он дал лишь ряд мимолетных наблюдений, притом преимущественно направленных в одну сторону“.

Гаршин не показал героя таким, „каков он есть“, т. е. таким, как его понимает Говоруха-Отрок. Гаршин, далее, рассказал лишь, „что сам о себе думает маленький человек“, т. е. он не развенчал его пессимизма, не отделил себя от своего героя, „убивающегося над большими вопросами“, внутренними ему революционными учителями („кем-то“), — эти признания Говорухи-Отрока показывают, что его борьба за „отрезвление“ маленького человека ведется им все же не в союзе с Гаршиным, а против него. Впрочем, Говоруха-Отрок, очевидно, рассчитывает на возможность перерождения и самого Гаршина: отношение Гаршина к своему герою он расценивает, как и „неустановившееся и колеблющееся“. Это придает особый смысл статье Говорухи-Отрока, которая предстает перед нами, таким образом, не только как документ борьбы реакционного лагеря с Гаршиным, как представителем радикально-народнической литературы, но и как документ борьбы за Гаршина, борьбы за перевоспитание писателя в нужном для реакции духе. Говоруха-Отрок указывает Гаршину на те способы, при помощи которых Гаршин может поставить тему пессимизма на службу реакции, иначе говоря, он указывает Гаршину возможность перехода в другой лагерь легчайшим для писателя путем: без коренной ломки излюбленной тематики, сюжета, образов и стиля. В этом отношении статья Ю. Говорухи является несомненно умным политическим маневром, на успех которого Говоруха-Отрок мог рассчитывать в силу связывавшей его с Гаршиным старой дружбы, завязавшейся еще тогда, когда Говоруха-Отрок был революционером.

Ту же тактику реакционного переосмысления образов Гаршина Говоруха-Отрок применил и по отношению к „Красному цветку“. Революционная нота звучала в „Красном цветке“ сильнее чем в других произведениях Гаршина, и потому не только Говоруха-Отрок, но и либеральная критика применила к „Красному цветку“ более чем к другим произведениям

Гаршина приемы переосмысления или замалчивания истинного содержания этого рассказа.

Говоруха-Отрок откликнулся на этот рассказ целым газетным фельетоном, в котором объявляет „Красный цветок“ превосходным беллетристическим произведением, не дошедшим, однако, до истинной художественности. Для того чтобы считаться подлинно-художественным произведением „Красному цветку“ не хватает глубины обобщения и типичности.

В этом отзыве Говорухи-Отрока есть одна несомненно важная черта: реакционный критик сразу почувствовал, что идея борьбы с „мировым злом“ в рассказе Гаршина навеяна революционным движением.

„Появились жесткие, ограниченные и угрюмые фанатики, написавшие на своем знамени лозунг борьбы *со всем злом мира* — лозунг, отразившийся кровью и злодейством, — кровью, пролитой во имя *любви*, злодейством, совершенным во имя счастья рода человеческого... Пренебрегая своею жизнью, они ни во что не ставили чужую — и в этом пренебрежении своею жизнью многие видели признаки подвига и героизма“.

Как и в первой своей статье Говоруха-Отрок изображает дело таким образом, будто в своей попытке использовать „Красный цветок“ против революции он выступает в союзе с Гаршиным. Для этого он „не замечает“ восторженного отношения Гаршина к своему самоотверженному безумцу — герою, не замечает и подлинного смысла аллегории „безумства“ (по Говорухе-Отроку, герой должен быть безумцем, потому что сама идея его к тому ведет), замалчивает он так же и очень прозрачную аллессию сумасшедшего дома, как темницы, населенной несчастными узниками. Только эти умолчания^а и дают ему возможность сделать Гаршина несколько причастным к его трактовке героя „Красного цветка“, как одного из людей „с шатким умом и малодушным сердцем“. Но так как этого-то отношения к своему герою у Гаршина как раз и нет, а есть противоположное, то Говоруха-Отрок и не упрекает его за „беллетристичность“, за недостаточную глубину, т. е. за то, что Гаршин дал своему герою не ту оценку, что реакционный критик. Полемика с людьми, которые видят „подвиг и героизм“ в революционной борьбе, это, следовательно, все же полемика с Гаршиным, прямо выступить против которого

Говорухе-Отроку было неудобно да и политически нецелесообразно по тем причинам, о которых мы говорили выше.¹⁵

Но во всяком случае, Говоруха-Отрок правильно понял, что основная проблема „Красного цветка“ лежала в сфере революционных идей. Он безусловно заметил также и то, что Гаршин, наделив своего героя готовностью погибнуть в борьбе со злом мира, обошел молчанием его решимость наносить при этом удары своим врагам; этот дефект центрального образа, ослабивший его революционную силу, облегчил Говорухе-Отроку возможность, хотя бы намеками, изобразить Гаршина своим союзником: если бы образ „безумца“ не был ограничен указанной чертой, то несомненное сочувствие автора к нему никак нельзя было бы истолковать иначе, как явный и решительный апофеоз освободительной борьбы.

Та же тенденция переосмысления „Красного цветка“ и использования его против революции проникла и в либеральную критику. Арс. Введенский в „Русских Ведомостях“ месяц спустя после статьи Говорухи-Отрока откликнулся на „Красный цветок“ рецензией с теми же по существу тенденциями, только выраженными значительно примитивнее и проще. Он свел аллереорию „Красного цветка“ к простому поучению о гибельности несбыточных иллюзий.

„Субъективно как громаден подвиг самопожертвования этого несчастного больного и как он ничтожен объективно, в смысле реальном“.

„Вспомните, что иллюзии, только менее наивного характера, свойственны не одним безумным, что если не цветок, то что-нибудь очень подобное ошибочно может быть принято за источник мирового зла и не безумным, а в результате—столь же горделивое счастье, рядом с полнейшей бесполезностью гибели“.¹⁶

Антиреволюционная направленность этой небольшой рецензии очень прозрачна: в 1883 г., т. е. всего через два года после 1 марта, приглашение вспомнить иллюзии, толкнувшие некоторых „не безумцев“ к бесполезному подвигу, конечно, было очень злободневным намеком, направленным против революции. Выясняя центральную идею рассказа, критик мыслит лишь два возможных вывода: квиетизм и проповедь „целесообразной“ деятельности, и, в качестве либерального критика, естественно, выбирает второе. Подлинную (гаршин-

скую) сущность „Красного цветка“ критик не замечает вовсе, подобно тому, как поступил в этом случае Говоруха-Отрок.

Другая линия интерпретации „Красного цветка“ в либеральной критике сводилась к простому отрицанию какой бы то ни было широкой общественной идеи в этом произведении. Так, В. Чуйко в „Новостях“¹⁷ расценивает „Красный цветок“ как „голый патологический этюд“; два года спустя эту же оценку, только с положительной квалификацией, повторил рецензент „Русской Мысли“ в отзыве на второй сборник Гаршина.

„Прочитавши эту краткую повесть, потрясающую своей правдивостью, становится «за человека страшно», — писал анонимный рецензент. Ясно становится, какая неувлимо-ничтожная грань в сознании каждого из нас отделяет «правильные суждения» от нелепостей, и какой незначительный толчок может превратить те и другие в какую-то странную смесь, из которой слагается бред безумного“.¹⁸

О борьбе с „мировым злом“ здесь не сказано ни слова, эта идея низводится таким образом на уровень рядовой маниакальной идеи, аллегорический смысл центрального образа игнорируется, и благодаря этому рассказ Гаршина, знаменующий собою высшую точку развития прогрессивных идей в его творчестве, превращается в клинический этюд. Оценивается ли он при этом положительно или отрицательно, разумеется, не имеет ни малейшего значения. К 1885 г., когда вышел второй сборник Гаршина, включавший в себя „Красный цветок“, подобное отношение к этому произведению стало уже традицией, благодаря появившейся в 1884 г. в специальном медицинском журнале статье психиатра Сикорского, где „Красный цветок“ получил высокую оценку специалиста за клинически правильное воспроизведение маниакального состояния.¹⁹

„Мы, читатели, были, конечно, обрадованы и даже как будто польщены таким отзывом специалиста об одном из наших любимцев, тем более, что и до него, т. е. до отзыва г. Сикорского, чувствовали глубокую правдивость рассказа, — писал Н. К. Михайловский. — Но мы не специалисты, для нас „Красный цветок“ не только психиатрический этюд, а вместе с тем все-таки беллетристика и именно сказка, т. е. нечто такое, в чем надо искать аллегории, подкладки чего-то большого, общежитейского, не вмещающегося в рамки той или другой специальной науки“.²⁰

Но самой сущности этой аллегории не коснулся и он, и вообще радикально-народническая критика ничего не противопоставила либеральному искажению общественного смысла „Красного цветка“.

Борьба реакционной и либеральной критики с „Красным цветком“ является заключительным этапом литературной полемики по вопросу о пессимизме Гаршина. Эта полемика вновь и с особой силой разгорелась после смерти писателя, когда пришлось решать вопрос об его литературном наследии в целом. Но при жизни Гаршина, после „Красного цветка“ эта борьба неизбежно должна была заглухнуть, ибо последующие его произведения уже не давали критике достаточных оснований для разработки этого злободневного и политически острого вопроса.

Подводя некоторые итоги, мы можем наметить основные линии литературной борьбы вокруг пессимизма Гаршина.

1. Радикально-народническая критика сразу приняла этот пессимизм, рассматривая его как свидетельство пробуждения лучшей части интеллигенции. Это приятие пессимизма Гаршина соединялось, однако, с указанием на необходимость активного выхода из пессимистического кризиса, с признанием активной политической борьбы высшей формой его преодоления.

2. Правонароднические публицисты и критики останавливались на первой части этой формулы и, не выдвигая революционных перспектив, по существу, стремились использовать гаршинский пессимизм, как оправдание отхода от активной политической деятельности.

3. Либеральная критика, исходя из отрицательного отношения к самой форме пессимистического протеста, не оставлявшего возможности для либеральных компромиссов с существующим строем, вела решительную борьбу и с пессимизмом Гаршина, отрицая его законность, объявляя его настроением надуманным, не вытекающим из фактов действительности, парализующим общественную энергию и потому социально-вредным.

4. Реакционная пресса упорно замалчивала Гаршина. Основные реакционные органы („Русский Вестник“, „Московские Ведомости“) не посвятили Гаршину ни одной строчки. Только рецензии Говорухи-Отрока являются единственными документами, характеризующими позиции этого лагеря, его отношение к Гаршину.

Однако фигура Говорухи-Отрока, как бывшего революционера и личного друга Гаршина, слишком своеобразна для того, чтобы его отзывы о Гаршине можно было признать типичными для критики и публицистики реакционного дворянского лагеря.

Поворот в творчестве Гаршина, наметившийся уже в 1883 г. в таких произведениях, как „Из воспоминаний рядового Иванова“ и „Медведи“, и углубившийся затем в „Надежде Николаевне“, не нашел сколько-нибудь заметного отражения в литературной критике и не стал объектом литературной борьбы. Эти произведения, как видно, не изменили отношения радикально-народнического лагеря к Гаршину. Во всяком случае, цитированные статьи Михайловского о Гаршине, относящиеся к 1885 г., не дают никаких оснований говорить об этом. Напротив, именно в этих статьях Михайловский трактует Гаршина, как „своего“ и называет „нашим любимцем“. „Воспоминания рядового Иванова“ ставятся здесь рядом с „Четырьмя днями“ и „Трусом“ и объединяются одной общей идеей. Лишь „Медведи“ дали повод Михайловскому упрекнуть Гаршина в излишней мягкости и привлечении симпатий читателей „к несчастьям и горестям такого рода, которые едва ли заслуживают столь теплого участия“.²¹

Зато менее близкие Гаршину круги яснее осознали в этих произведениях начало какого-то поворота.

Так, „Русская Мысль“ в анонимной рецензии на второй сборник Гаршина,²² отмечая „Воспоминания рядового Иванова“, как лучшее произведение, писала о нем следующее:

„Во всем рассказе нет ни слова лишнего и ничего недосказанного, нет ни малейшего намека на сентиментальность или на желание произвести эффект, никаких подчеркиваний и навязывания читателю своих личных выводов. Несмотря на описываемые ужасы, читатель выносит из рассказа светлое впечатление, мастерски законченное и художественно примиренное с суровой действительностью“.

Если вспомнить приведенный выше из этой же рецензии отзыв о „Красном цветке“, как об объективном психиатрическом этюде, то получится явное впечатление, что цитированная рецензия свидетельствует о несомненном смягчении отношения либеральной критики к Гаршину, очевидно, усмотревшей в нем поворот вправо, к „примирению с суровой действительностью“.

Говоруха-Отрок также увидел в рассказе „Медведи“ „первый признак поворота мирозерцания г. Гаршина“, хотя это мирозерцание, по его мнению, еще неопределенное и расплывчатое. Он отмечает в этом рассказе переход „именно к тому беспристрастному и спокойному анализу жизни, без которого немислимо создание произведений художественных“.

„Рассказ г. Гаршина совершенно нетенденциозный, что тем более делает честь и уму и эстетическому чутью автора, что тема, сама по себе, чрезвычайно удобна для тенденциозной разработки в смысле и в тоне романистов и повествователей тех же «Отечественных Записок»“.²³

Итак, поворот был замечен, и очень различные группировки возлагали на него надежды, ибо, куда ведет этот поворот, было недостаточно ясно. О том, что он ведет к сближению с толстовством, предполагать было трудно.

„Надежда Николаевна“ спутала все расчеты критиков, привела их в полное недоумение и даже раздражение, так как одно было ясно, именно то, что эволюция Гаршина идет не в ожидавшемся направлении. Этим, думается, и следует объяснить то „гонение“ на „Надежду Николаевну“, которое так болезненно переживал сам Гаршин.

Арс. Введенский в одной из своих „Литературных бесед“ в „Русских Ведомостях“ выразил именно чувство раздраженного недоумения, которое вызвала в нем „Надежда Николаевна“. Гаршин, по мнению А. Введенского, писатель, с именем которого связано много неоправданных надежд; каждое его произведение заставляет ждать большего; его произведения дают силу чувства, но в области мысли — намеки, неполноту. В „Надежде Николаевне“ он отмечает противоречия в описке характера Бессонова: сочетание в одном лице холодности и бурной страсти, недостаточно разработанной он считает и психологию самой героини, в Гельфрейхе видит совершенно лишний персонаж.

„Но что же мог выразить своим рассказом автор?“ — недоумевает критик. Эти неоправданные ожидания вызывают у него уничтожающий приговор всему творчеству Гаршина. „...автор не знает ни жизни ни людей... он смотрит и на ту и на других априорно, теоретически и ежеминутно может впадать в ошибки. Его приемы — приемы художника-философа; а содержания для «художественно-философского» созерцания

жизни нет. Есть способность впечатлений; но первое впечатление давит все дальнейшие, и их итог получается фальшивый, он — мнимая величина".²⁴

Такой же характер носит и отзыв „Недели".²⁵ Автор отзыва — „Единица" (В. Л. Киги) разделяет с Введенским чувство недоумения в том, куда ведет путь, наметившийся в „Надежде Николаевне", хотя некоторые проблески понимания все же в его отзыве имеются. Отзыв начинается также с перечисления художественных недостатков вещи (лаконизм языка, „иногда даже впадающий в немоту", неясность образа героини, недостаточная детализированность развития страсти Лопатина и Бессонова и т. д.).

„По нашему, — резюмирует критик, — недостатки «Надежды Николаевны» могут иметь два источника. Или автор нарочно придерживается той простоты повествования, которая прельстила Тургенева в старинном итальянце и заставила его написать «Песнь торжествующей любви»; или для г. Гаршина в его повести главное была идея произведения, а не художественная сторона рассказа".

Вторая возможность представляется критику еще более предосудительной.

„Гораздо больше опасений возбуждает второе предположение о намеренном пренебрежении формой в виду идеи, которая сама по себе так велика, что не нуждается в суетных прикрашиваниях, которая от автора требовала только одного: еще раз, громко и перед всеми провозгласить ее на примере Надежды Николаевны, Лопатина и Бессонова. Если так, то тут художник в большой опасности, от которой его трудно избавить. Тут художник подает из беллетристического цеха в отставку и поступает в проповедники".

Второе предположение свидетельствует о большей проницательности Единицы по сравнению с Введенским: критик „Недели" правильно, хотя и ощупью, намечает моралистические тенденции Гаршина, стремление к „проповедничеству" и т. д.

Несколько позже этот же критик, вскользь упоминая в одной из своих статей о рассказе Гаршина, уже совсем вплотную подходит к определению того пути, который наметился в „Надежде Николаевне".

„Г-да Оболенский (повесть «Жаждающие света» и роман

«Два полюса»), Гаршин («Надежда Николаевна», повесть), Златовратский («Мои видения») с истерическим напряжением старались нарисовать нравственный переворот, совершающийся ныне в душе современного россиянина. На самом деле они только перефразировали последние ненапечатанные сочинения, графа Л. Толстого и сочинения, — «Братьев Карамазовых» в особенности, — Достоевского.²⁶

Здесь уже упомянуто имя Л. Толстого, и это, пожалуй, единственное прямое указание нового направления пути Гаршина.

Примечательно, что даже Л. Е. Оболенский, сам склонявшийся в те годы к толстовству, не усмотрел того же поворота в творчестве Гаршина. Напротив, в своей обширной критической статье о второй книжке Гаршина,²⁷ он упрекает писателя именно за отказ от нравственных приговоров над поступками людей, за отсутствие в нем морального пафоса обличения зла. Подходя к писателю с этой позиции, Оболенский осуждает его, например, за реабилитацию Венцеля.

„Если г. Гаршин имел в виду мысль — напасть на войну, как на внешнее условие, то пусть бы и напал, но не оправдывал безобразие Венцеля. Войны-то он не отменил, а Венцелей-то, пожалуй, расплодит не мало, ибо что ж им теперь сомневаться: их одобряет один из талантливых молодых писателей, с самой хорошей репутацией добрейшего и прекраснейшего человека“.

Но делая эти упреки, Оболенский развивает свою мысль: он против того, чтобы, возлагая всю ответственность на среду, отказываться от нравственного воспитания отдельной личности. „Улучшение жизни людей, — пишет он, — . . . может совершаться только через личность, но может и должно идти двумя путями: с одной стороны, смягчением общественных форм (т. е. понятий, идей, привычек, обуславливающих эти формы), а затем усовершенствованием ежедневного личного отношения к людям (к ближнему, к обществу) *в пределах существующей формы* отношений общественных и юридических“. Таким образом, упрекая Гаршина в излишней терпимости к порокам людей, Оболенский отнюдь не призывает его к революционным выводам; он хотел бы видеть его писателем-моралистом, исправляющим людей „в пределах существующей формы“ общественных отношений.

Исходя из этого, он указывает Гаршину „на необходимость более глубокой основной идеи, более правдивого идеала, чтобы его сила, как сила его Никиты, не служила орудием случайным — то добра, то зла, смотря по тому, куда его повлечет художественное чувство и фантазия“.

Не удовлетворяет Оболенского и апология смиренной жертвенности „Сказки о жабе и розе“, ибо жертва розы не оправдана тем идеалом „усовершенствования ежедневного личного отношения к людям в пределах существующих форм“, к которому стремится Оболенский.

„Если думать, что жертвы будут вечно нужны, что это закон самой жизни, что жабы будут вечно, то жертва, как цель жизни, вполне понятна. Но так ли это? Не должны ли люди стремиться к такой жизни, когда не будет нужно жертв, когда не будет жаб и если будет неизбежная смерть, то эта смерть будет естественным отдыхом после того, как все земное совершено? “

„В этом очерке выступает несколько пессимистическое миросозерцание автора и, как продукт этого миросозерцания, — оправдание жертвы собою, — жертвы не во имя даже будущего устройства жизни, когда не нужно будет жертв, а просто во имя того, что все равно погибнешь бесплодно“.

Эта характеристика „Сказки о жабе и розе“ показывает, что Оболенскому, даже стоя на позициях либерального толстовства, удалось отметить действительно слабые стороны мировоззрения Гаршина второго периода, хотя и совершенно не удалось наметить пути его эволюции. Даже „Надежда Николаевна“ не натолкнула его на правильные выводы об этом пути. Он усмотрел в повести Гаршина лишь стремление к мелодраматизму, погоню за внешними эффектами, пристрастие к убийствам и ужасам и совершенно не заметил как раз разработки вопросов личной морали, в равнодушии к которым он упрекал Гаршина.

Словом, либеральная критика чувствовала какой-то поворот в творчестве Гаршина, который вначале готова была приветствовать, но затем совершенно запуталась в определении направления этого поворота.

Вскоре этот поворот окончательно определился и оформился в такие произведения, как „Сказание о гордом Аггее“ и „Сигнал“, но и тогда он не вполне дошел до созна-

ния критики. Так, С. Надсон откликнулся на „Аггея“ общим соображением о вредном влиянии на народ произведений с фантастическим сюжетом, его замечания не выходят за пределы тех упреков, которые либеральная критика делала подобного типа „народным“ рассказам; об изменении творческого пути Гаршина С. Надсон не говорит вовсе, очевидно, не видя в этом рассказе ничего симптоматического. Во всяком случае, он нашел возможным охарактеризовать идею рассказа, как „очень гуманную и симпатичную“. ²⁸

Что касается „Сигнала“, то В. Буренин, откликнувшись на это произведение, ²⁹ увидел в нем „не более, как железнодорожный анекдот, может быть и выдуманный автором, может быть и истинный, но во всяком случае, исключительный анекдот, даже мелодраматический“. Иронически пересказав сюжет, Буренин заканчивает таким выводом:

„Очень трогательный и назидательный анекдот, что и говорить: и рассказан мило, с простотой, которую современные рассказчики заимствуют у гр. Л. Толстого и которая у него выходит художественной, приближающейся к народной безискусственности, а у его подражателей условной, деланной и приторной. Но не в этом дело, впрочем, а вот в чем. Читая рассказ г. Гаршина вы чувствуете, что даже эти 4 странички он едва-едва мог выкроить из анекдота, вы чувствуете в каждой строке какое-то оскудевающее, истаивающее беллетристическое дарование. Рассказ г. Гаршина напоминает обсосанный беллетристический леденец, если только это сравнение не покажется странным, в применении к литературной вещи“.

Буренин, как видно, также далек от понимания, насколько симптоматичен этот „анекдот“ для творчества Гаршина, он видит в нем лишь признак оскудения таланта. Эти диагнозы об оскудении таланта, так часто повторяющиеся по отношению к Гаршину в последние годы его творчества, сами по себе очень показательны: они представляют первичную, самую примитивную форму констатации перелома.

Арс. Введенский, уже прошедший эту первичную стадию, теперь, после появления „Аггея“ и „Сигнала“, прямо отметил этот перелом и дал ему резко-отрицательную оценку. Начав с упрека в неправдоподобности сюжета „Сигнала“, он переходит к эволюции Гаршина и прямо упрекает его в подражании Льву Толстому.

„...нам неотразимо хочется сказать, — пишет он, — что путь подобных „аллегорий“... не настоящий путь для большого беллетристического таланта, если он не хочет променять свое выгодное положение на условное поприще беллетристического проповедника“.³⁰

Поворот Гаршина в сторону толстовства хотя и констатируется в этой рецензии, но также отнюдь не трактуется, как серьезный идейный процесс, а скорее, как случайное явление. Вообще, все отзывы, относящиеся ко второму периоду творчества Гаршина, показывают, что Гаршин в глазах современников не стал другим писателем, качественно отличным от прежнего.

Поэтому, когда его деятельность внезапно оборвалась, и литературным лагерям 80-х гг. пришлось в итоговых статьях поставить вопрос о творчестве Гаршина в целом, тогда опять всплыл старый гаршинский вопрос — вопрос о пессимизме, и перед современниками вновь встал облик прежнего Гаршина, пессимиста, обличителя, выразителя левонароднических тенденций литературы. Начался второй тур борьбы вокруг Гаршина и опять, преимущественно, по вопросу о пессимизме. Самоубийство писателя бросило новый свет на эту проблему; к числу жертв русского общественного строя, выведенных Гаршиным, прибавилась личность их автора, и вопрос об его пессимизме неразрывно связался с вопросом о причинах его гибели. Самоубийство Гаршина стало фактом не только биографии писателя, но фактом литературы, и это еще более обострило борьбу вокруг гаршинского литературного наследия.

Пессимистическая концепция Гаршина была вновь поставлена на обсуждение радикально-народническим лагерем. Эту работу с огромной силой таланта выполнил Гл. Ив. Успенский в своей статье „Смерть Гаршина“, опубликованной в „Русских Ведомостях“ через 18 дней после трагической гибели писателя.³¹ Статья эта известна более во второй редакции, явившейся результатом переработки газетной статьи для сборника „Памяти Гаршина“, поэтому мы позволим себе привести основные положения первоначальной газетной редакции.

Точка зрения Успенского на смерть Гаршина в газетной редакции статьи сводится к следующим основным положениям:

1) психическая болезнь Гаршина не может рассматриваться, как единственная и решающая причина его смерти, напротив, в самом психическом расстройстве такого человека, как Гаршин, первенствующее значение перед физическим расстройством играют впечатления действительной жизни;

2) реальная жизнь современного Гаршину общества давала ему лишь такие впечатления, которые огорчали его мысль, отталкивали от малейшего движения вперед и тяготили его жизненной неправдой;

3) следовательно, пессимизм Гаршина неизбежно должен был привести его к смерти; подобно герою „Красного цветка“, Гаршин погиб „не только от болезненного состояния, а от логического развития мысли“.

Таким образом, в своей статье Успенский возложил ответственность за смерть Гаршина на условия русского общественного строя. Гаршин в трактовке Успенского — жертва современного режима, и самый факт его самоубийства результат невозможности для наиболее чутких и честных людей жить в подобных общественных условиях. Статья Г. И. Успенского, таким образом, продолжала традицию радикального народничества 70-х гг. и самого Гаршина. Успенский в своей статье продолжал гаршинскую тему на материале, относящемся к жизни и смерти самого Гаршина.

Эта замечательная статья сразу стала объектом нападения со стороны Ю. Говорухи-Отрока, который ответил на нее обширным фельетоном „Г. Успенский о В. Гаршине“.³²

Изложив иронически содержание статьи Гл. Ив. Успенского, Говоруха-Отрок свел главную мысль его к тому, что Гаршин умер не столько от психического расстройства, сколько от „гражданской скорби“. Это карикатурное отражение мысли Успенского свидетельствует, впрочем, о том, что Говоруха-Отрок правильно понял тенденцию Успенского, и именно она является для него совершенно неприемлемой. В противоположность Успенскому, Говоруха-Отрок считает психическое расстройство Гаршина единственной причиной смерти писателя.

„Я лично по всем моим воспоминаниям о Гаршине, по всему тому впечатлению, которое во мне оставил его нравственный облик, я лично глубоко уверен, что если бы не *психическое расстройство*, добившее измученного мучительной рефлексией человека, исход был бы иной; если бы не психи-

ческое расстройство, он вынес бы свою муку душевную и вышел бы из нее победителем, т. е. сумел бы, нашел бы в себе настолько силы душевной, чтобы *примириться* с жизнью, не подчинившись ей“, — пишет Говоруха-Отрок.

Под примирением с жизнью он понимает, во-первых, примирение с религией, и, во-вторых, примирение с самодержавием. Говоруха-Отрок вспоминает о том, что Гаршин будто бы, говоря о религии, воскликнул однажды: „зачем из меня все это вытравили!“ и в этом факте видит у Гаршина потребность веры, к которой тот пришел бы, если бы его не погубило психическое расстройство. В доказательство того, что Гаршин шел также и к примирению с самодержавием, Говоруха-Отрок приводит рассказ Гаршина „Из воспоминаний рядового Иванова“ и, в частности, описание императорского смотра.

„Это описание, где лиризм возвышается до высокого и истинного пафоса, проникнуто таким глубоким всенародным чувством, что ясно свидетельствует, по какому пути пошел бы покойный Всеволод Михайлович, останься он жив...“

Говоруха-Отрок видит в статье Успенского опошление личности Гаршина, стремление выкрасить его в один „казенный цвет“.

„Ни «жизнь», в том смысле, как это слово понимает и употребляет г. Успенский, ни нервное отношение к предписаниям Н-ского полицейского управления за номером таким-то, ни негодование на расторопного околодочного, тормозящего «прогресс цивилизации», ни все эти мелочные пошлости, могущие в человеке действительно серьезном возбуждать лишь мимолетную нервозность, досаду — не это погубило В. М. Погубила его, конечно, психическая болезнь, не давшая возможности душевному процессу, тяжкому и мучительному, который переживал он, победить ту внутреннюю рознь, ту внутреннюю дисгармонию, которая так ярко отразилась в произведениях покойного писателя“.

Таков итог его статьи. Нечего говорить о том, что та тенденция развития взглядов Гаршина, которую намечает здесь Говоруха-Отрок, совершенно не отражает реальной эволюции Гаршина. Но для нас в данном случае важен лишь тот факт, что прогрессивная сущность статьи Успенского была усвоена его реакционным оппонентом, ответ которого является несомненной попыткой отвоевать Гаршина от демо-

кратического лагеря. Несомненно и то, что самая возможность такой попытки коренится в действительных политических срывах Гаршина (вроде сцены императорского смотра в „Рядовом Иванове“), которые и поспешил использовать в своих целях критик-ренегат.³³

В борьбу, завязавшуюся вокруг наследия Гаршина, вступил либеральный лагерь. Здесь мы прежде всего должны отметить статью М. Протопопова „Всеволод Гаршин“, появившуюся в июльском номере „Северного Вестника“. ³⁴ Мы помним раннюю (1882 г.) рецензию этого же автора в „Деле“ о первом сборнике Гаршина. Уже в той рецензии гаршинский пессимизм получил отрицательную оценку, но там еще были отдельные моменты, соприкасавшиеся с народнической трактовкой Гаршина (напр., оценка эволюции Рябинина из „Художников“) Новая итоговая статья Протопопова представляет собой дальнейшее углубление его отрицания законности пессимизма, детерминированности его условиями русского общественного устройства.

Статья Протопопова теснейшим образом соприкасается с работой Г. И. Успенского. Ее темой также является выяснение скрытых причин самоубийства Гаршина. Подобно Успенскому, Протопопов видит причину гибели Гаршина в его пессимистических взглядах, но этот пессимизм, как сказано выше, оценивается автором резко отрицательно. Протопопов упрекает Гаршина за бездеятельный характер его пессимизма, за „уступчивость всем и во всем, нежелание борьбы и даже прямое отвращение к ней“, за отсутствие в нем *действенной* любви к людям. Причиной гибели Гаршина он считает „тяжелое разочарование, которому не доставало только дальнейшей теоретической обработки, чтобы превратиться в стройную систему чистейшего пессимизма“. „Дальше от жизни ждать было нечего и итти стало некуда“. „Удались от людей, Офелия“, и Гаршин, неспособный на компромиссы с своей совестью, не побоялся уйти от людей безвозвратно...“

Понятно, что Протопопов, в противоположность Г. И. Успенскому, совершенно не намерен бороться за литературное наследие Гаршина. Напротив, он заканчивает статью решительным отмежеванием от покойного писателя:

„Его рассказы — это «элегии в прозе», это талантливое выражение сомнений, обуявших чуткую, искреннюю и глубокую

душу, но сомнений, давно уже не играющих серьезной роли в области человеческого смысла. Гаршин не вынес этих сомнений, умер, не справившись с ними и пусть будет над ним земля легка и вечная память этому, как хрусталь чистому, но и как хрусталь хрупкому сердцу. Но нам отчаиваться не от чего. Надо жить и будем жить, печалась, гневаясь, негодуя, но не «стыдясь» за то, что осмеливаемся жить и даже надеяться и верить. Что много говорить? Если Гаршин был так хорош и чист, то это, конечно, значит, что и мы не так уж дурны“.

Мысль о том, что Гаршин пришел к самоубийству в результате логического развития его пессимистической мысли, была высказана и Успенским в газетной редакции его статьи, но у Успенского самый пессимизм Гаршина объясняется как неизбежное следствие тех впечатлений, которые давала ему реальная действительность русского общества, в то время как у Протопопова пессимизм Гаршина трактуется как его личное свойство и, следовательно, как конечная и единственная причина его смерти.

Таким образом, вопрос об ответственности общественных условий за смерть Гаршина в трактовке Протопопова снимался вовсе.

Статья М. Протопопова встретила полную поддержку со стороны В. Г. Короленко. Он выступил в провинциальной печати (газ. „Волжский Вестник“, Казань)³⁵ с возражением против Я. Абрамова (о нем — ниже), который в одной из своих корреспонденций из Петербурга неодобрительно отозвался о статье Протопопова. Короленко берет эту статью под свою защиту и также резко осуждает гаршинский пессимизм, видя в нем, подобно Протопову, конечную причину гибели писателя. Все творчество Гаршина он рассматривает как борьбу яркого таланта с „смертельно мрачным мировоззрением“.

„На наших глазах происходила захватывающая страшная борьба, — пишет он, — перед нами сверкнул яркий, жизненный талант в „Четырех днях“; в „Художниках“ он зовет нас на служение жизни от созерцательно-эстетического квиетизма. Но уже здесь по временам в симпатичном голосе слышится надтреснутая нотка, является темное пятнышко, омрачающее прекрасный метеор. В „Attalea princeps“ горькое сомнение уже

разрослось: не стоит мыслить, не стоит стремиться. И на вершинах жизни — один мрак и холод. Сюда примыкает «Красный цветок» и «То, чего не было». В первом самая смерть ради идеи, высшее завершение в наших глазах осмысленной жизни, — является лишь смертью ради фикции, иллюзии, за которой нет ничего, кроме больничного гроба из плохо сколоченных досок. Во втором — глубокомысленные рассуждения о мире, об его пределах и т. д. заканчиваются тем, что мерина-философа хватают за челку и уводят с арены без всякой церемонии. Дальше образы Гаршина меркнут все более, пессимистическая схема все больше преобладает над жизнью“.

Написанная в защиту Протопопова статья Короленко также резко противостоит тому взгляду на сущность гаршинского пессимизма и на причины его гибели, который был выражен Глебом Успенским. Вместе с Протопоповым Короленко также, в противоположность Успенскому, объявляет пессимистическое мировоззрение Гаршина его личным свойством и единственной причиной его смерти.

Глеб Успенский вполне мог не знать статьи Короленко, но зато не подлежит никакому сомнению, что он должен был знать как статью Говорухи-Отрока, являвшуюся прямым выпадом против него, так и статью Протопопова, опубликованную в столичном журнале, сотрудником которого был сам Успенский, к тому же по инициативе редакции этого журнала Глеб Иванович и работал в то время над переделкой своей статьи для сборника „Памяти Гаршина“. Статья Говорухи-Отрока печаталась в номерах „Южного Края“ от 15 до 22 апреля, а в мае месяце Успенский уже работал над переделкой своей статьи.³⁶ Таким образом, фельетон Говорухи-Отрока мог послужить для Успенского даже непосредственным толчком к переработке своей статьи. Статья же Протопопова появилась как раз в разгар его работы над второй редакцией „Смерти Гаршина“.

Скрытая полемика с обоими указанными авторами, очевидно, и определила пути переработки статьи Успенского. Прежде всего, он ввел в новую редакцию своей работы пересказ научной статьи Эльпе о параличе воли, сделанной на основании трудов крупнейших ученых психологов.³⁷ Некоторые умело выбранные цитаты из этой статьи давали Успенскому возможность подкрепить ссылкой на научные авторитеты свое объяснение смерти Гаршина, как результата тех тягостных впечат-

лений, которые давала ему общественная жизнь. Эта ссылка на авторитет крупнейших ученых, подтверждая, что самая болезнь Гаршина является следствием общественных влияний, служит возражением Говорухе-Отроку, прямолинейно противопоставлявшему психическую болезнь Гаршина „гражданской скорби“, психологию — психопатологии. Таким образом, Успенский не только не поступился своим тезисом об ответственности социально-политических условий русского общества за смерть Гаршина, но, напротив, еще сильнее заострил его.

Влияние статьи Говорухи-Отрока можно видеть и в том, что в новой статье Успенский совершенно убрал ссылку на „Воспоминания рядового Иванова“, вероятно потому, что именно этот рассказ, как мы помним, дал повод Говорухе-Отроку говорить о монархических тенденциях, будто бы наметившихся у Гаршина.

Обращаясь к статье М. Протопопова, с которым Успенскому также пришлось посчитаться, мы опять-таки сталкиваемся с использованием работы Эльпе. Кроме указанного выше назначения этой статьи, как ссылки на научный авторитет, оправдывающий положение Успенского о зависимости физического страдания Гаршина от общественных влияний, использование этой работы имеет для него еще и другое весьма важное значение. Обратим внимание на самый характер той болезни, которую Успенский, на основании этой статьи, приписывает Гаршину. Это болезнь такого рода, которая, парализуя волю, не парализует *стремления к действию*. Человек, одержимый этой болезнью, хочет действовать в определенном направлении, но поступает вопреки желаемому. Этот новый взгляд на характер болезни Гаршина обусловил новые черты в трактовке вопроса о причинах его смерти и о характере его пессимизма.

Если, согласно первой редакции, Гаршин *стремился* к смерти, то, согласно второй, он пришел к ней, *вопреки желанию*. Этим снималось обвинение Гаршина в самоубийственном характере его пессимизма, которое было сделано в работе Протопопова. Согласно новой редакции статьи, Гаршин „не только не мог логически додуматься и дойти во имя пессимистических идей до мысли о смерти, но напротив, знал, что ему надобно откупорить самого себя“... „Вот его желания, *необходимые* ему, желательные ему всем обилием мыслей, но недуг заста-

вляет его поступить прямо *противоположно* этим истинным его желаниям“.

И эту мысль Успенский проводит на протяжении всей своей работы над второй редакцией статьи:

во-первых, он выпускает всю вступительную часть газетной редакции, в которой Гаршину приписывалось „неотразимое стремление «кончить», прекратиться, прекратить жизнь тела“;

во-вторых, он переосмысляет эпизод визита Гаршина к „одному высокопоставленному лицу“ [Лорис-Меликову]; раньше этот эпизод служил лишним доказательством связи психического расстройства Гаршина с теми „тумаками“, которые наносила ему реальная жизнь; теперь он служит примером того „что Гаршин не всегда повиновался тем пессимистическим идеям, которые проповедывал, и не всегда смотрел на окружающую жизнь, как на прах и тлен“;

в-третьих, он изменяет характеристику развития мысли героя „Красного цветка“, отождествляемого с самим Гаршиным: в первой редакции она „эта мысль, как птица, знающая цель своего полета, ... *приходит к конечной цели — смерти* (курсив наш. Г. Б.), во второй редакции эта мысль старается пробиться сквозь препятствия, „устремляясь к известной цели, в данном случае к *похищению цветка, к истреблению его, как источника всякого зла*“ (курсив наш. Г. Б.);

в-четвертых, он включает вторую редакцию статьи обобщающим тезисом о том, что Гаршин „мог, при *обилии мыслей* о своих к этой действительности *обязанностях* потерять даже *тень* хотения жить во имя *желательного*, и пришел к возможности, думая об одном, делать совершенно ему *противуположное*“.

Словом, на протяжении всей статьи последовательно снимаются все пункты, дающие повод для тех упреков, которые сделал Гаршину Протопопов и столь же последовательно подчеркивается потенциальная активность мировоззрения Гаршина, парализованная условиями социальной действительности. Благодаря этому ответственность за смерть Гаршина, которую Успенский возлагает на условия русского общественного строя, становится еще более значительной и тяжелой. Это вполне понятно: снять ответственность за самоубийство Гаршина с него самого значило возложить ее целиком на самодержавно-бюрократический режим.

Итак, переработав статью, Успенский заострил ее не только против реакционного лагеря, но и против либерализма, который, ополчаясь на так называемый пессимизм, по существу, под флагом борьбы за оптимизм, призывал к сделке с реакцией.

Работа Г. И. Успенского над статьей „Смерть Гаршина“ является чрезвычайно любопытным эпизодом литературно-политической борьбы конца 80-х гг., поводом для которой была смерть Гаршина, а истинным содержанием — оценка социально-политических условий момента.

Роль Успенского в этой борьбе очень определена: он поднял в конце 80-х гг. вопрос о пессимизме, столь характерный для старого радикального народничества; этот вопрос он разработал на материале биографии того писателя, для которого эта проблема была центральной и основной.

Подняв этот вопрос, он обнажил его истинный политический смысл и направил свою статью против самодержавно-бюрократического строя. Он отстаивал свою установку, вступив в борьбу как с явно реакционным, так и с либеральным крылом литературы и последовательно провел радикально-демократическую точку зрения.

Правое народничество также откликнулось на смерть Гаршина. „Неделя“, очень мало интересовавшаяся Гаршиным при жизни его, посвятила ему много внимания после смерти. Она откликнулась на смерть Гаршина обширной статьей Р. Д. (Дистерло), растянувшейся на два номера журнала.³⁸ Эта статья мало интересна по содержанию и по установкам скорее при-мыкает к либеральному лагерю: мы найдем в ней ту же резко отрицательную оценку гаршинского „вельтшмерца“, то же отмежевание от общих тенденций его творчества, как и в статье Протопопова.

Гораздо характернее для „Недели“ статья Я. Абрамова, представляющая собою попытку причислить Гаршина к своему лагерю. Абрамов совершенно игнорирует вопрос о пессимизме и, опираясь на биографические данные, изображает Гаршина кроткой, незлобивой натурой, сторонником христианского смирения и непротивления.

Я. Абрамов, характеризуя Гаршина, рассказывает об одном случае из его жизни, когда тот заступился за обижаемую дворниками проститутку, давал объяснения судебным властям и при этом не проявил злобы и по отношению к обидчикам.

„И таков В. М. был во всем и всегда, резюмирует Абрамов. Он ненавидел зло, но любил людей. Это была поистине христианская натура“.³⁹

Эту же характеристику Гаршина Абрамов повторил и на страницах „Казанского Биржевого Листка“. Вот его развернутая характеристика Гаршина:

„Кроткий, незлобивый, любвеобильный, всепрощающий, не могущий не только сделать никому зла, но и не могущий причинить кому-либо самомалейшее огорчение. Когда ему наносили обиды, он не сердился, не возмущался, не думал об отплате обидчику, а скорбел о том, что он заставил ближнего обидеть себя, считал себя виновным в том, что довел ближнего до оскорбления. Это был совсем особенный человек, совсем не пригодный для жизни в наш век и в то же время именно в наш-то век и наиболее необходимый“.⁴⁰

Итак, в обрисовке Абрамова Гаршин превращался в законченного и последовательного непротивленца. Абрамов, таким образом, использовал те черты творческого облика Гаршина, которые обнаружились в последние годы его деятельности, и обобщил их в „нравственный облик“ писателя. „Методология“ Абрамова та же, что и Говорухи-Отрока.

Радикально-народнический лагерь дал отпор и этой попытке отвоевания Гаршина. С возражением Я. Абрамову выступил Н. Шелгунов, посвятивший Гаршину в „Русской Мысли“ один из очередных номеров своих „Очерков русской жизни“.⁴¹ Он возражает против причисления Гаршина к лагерю моралистов, он считает его не моралистом, сторонником усовершенствования личности, а публицистом, сторонником активного изменения „среды“. Таким образом, в полном согласии с радикально-народнической традицией он видит в творчестве и общем облике Гаршина орудие борьбы с современными общественными условиями („среда“). Он, подобно Успенскому, отрицает „бездейственность“ и пассивность гаршинского мировоззрения. Вступив в борьбу с Я. Абрамовым, опиравшимся объективно на Гаршина периода перелома, Шелгунов опирается на Гаршина первого периода и рассматривает его как натуру „не только чувствующую, но и понимающую, не только понимающую, но и поступающую“.

Статья Шелгунова очень наглядно показывает, как бережно защищали Гаршина левые народники от всяких притязаний

на него со стороны других, враждебных литературных партий.

Об этом же свидетельствует еще один документ этой борьбы, также несомненно вышедший из радикально-народнических кругов. Мы имеем в виду статью некоего А. Кузина „Художник-пессимист“, опубликованную в малозначительном журнале „Колосья“. Эта статья представляет собою переработку статьи Якубовича (Гарусова) 1882 г., с обильными дословными повторениями. В ней дается та же оценка прогрессивной сущности пессимизма Гаршина, но еще более подчеркиваются элементы социального альтруизма.

„...перед смертью такой человек видит свет, но не для себя, а для всего человечества“, — пишет автор, и в подтверждение этой мысли ссылается на „Ночь“.

„И в рассказе «Ночь» г. Гаршин предсказал свою собственную судьбу: он также не выдержал напора того чувства, которым жило его сердце, угнетаемое сознанием массы человеческого горя, и умер, питая все-таки надежду на светлую будущность человечества“. ⁴²

В этой статье смерть Гаршина также связывается с общественными влияниями, с тягостными впечатлениями условий общественного строя, а гаршинский пессимизм рассматривается здесь, как проявление „любви к человечеству“.

Сам Якубович к моменту смерти Гаршина был уже приговорен к каторге и отправлен на Кару. Было бы очень заманчиво предположить, что статья принадлежит все же ему и была переправлена из ссылки. Это еще более подчеркнуло бы, какое важное значение придавали революционные народники борьбе за Гаршина. Однако такое предположение невозможно без специального исследования, но даже если допустить, что старая статья Якубовича была кем-то переработана для гаршинского некролога, то и этот факт, факт использования в борьбе за Гаршина статьи осужденного на каторгу революционера, также проливает яркий свет на то значение, которое Гаршин имел для радикального народничества.

Борьба вокруг Гаршина как при жизни его, так и непосредственно после смерти очень наглядно вскрывает роль его творчества в социально-политической борьбе 70-х—80-х гг. Эта борьба показывает нам, что Гаршин нужен был радикальному народничеству, что он воспринимался им, как писатель

не только близкий, но и свой, как „любимец“, по выражению Михайловского. Народники опирались на Гаршина в своей демократической борьбе против помещичье-капиталистического строя. И это вполне естественно.

В своем творчестве Гаршин отразил жгучий протест широких мелкобуржуазных слоев общества против тягостных условий самодержавно-бюрократического строя пореформенной России. В его произведениях отразился рост оппозиционных настроений интеллигенции, процесс выхода многих рядовых ее представителей из состояния пассивной самозамкнутости и их стремление перейти на путь активного „служения народу“. В его пессимизме отразилась та ступень неприятия социально-политических условий, закрепощавших русское общество, выше которой уже начиналась революционная борьба.

Перспективы революционной борьбы явственно рисовались за теми конфликтами, которые нашли свое выражение в рассказах Гаршина. В его произведениях отразился и ужас мелкого буржуа перед буржуазным хищничеством, перед капиталистическим закрепощением искусства, перед всем строем отношений, превращающих живого человека в объект бесчеловечной эксплуатации.

Слабые стороны мировоззрения Гаршина, о которых говорилось выше, являются отражением той неустойчивости и склонности к политическим шатаниям, которые были свойственны мелкой буржуазии, в том числе и радикальным ее слоям. Только пролетариат способен вести последовательную до конца борьбу с абсолютизмом. „Во всех других классах, группах, слоях населения вражда к абсолютизму не безусловна, демократизм их всегда оглядывается назад“ (Ленин. Соч., II, стр. 177).

Но будучи литературным представителем радикальной мелкой буржуазии, Гаршин идейно и творчески все же не примыкал к её наиболее последовательному крылу — к революционному подполью. Путь Гаршина гораздо более характерен для легального крыла буржуазно-демократической литературы, для тех, „кто двигал «Отечественные Записки»“. Эта группа близко соприкасалась с подпольем, иногда поддерживала его, но никогда не сливалась с ним вполне. Именно к ней теснее всего примыкал Гаршин. В этом убедил нас и анализ его творчества и направление его эволюции; критические отзывы

о его произведениях показывают, что он и не воспринимался, как выразитель революционного подполья даже теми из современных ему критиков, которые лучше других наметили объективную роль его литературной деятельности.

Это позволяет нам определить и классовую сущность его творчества. Гаршин был писателем радикальной мелкой буржуазии 70-х и 80-х гг., которая была разбужена революционным движением и втянута в борьбу с самодержавно-крепостническим строем, но в то же время отличалась „политической невоспитанностью и революционной мягкотелостью“.

Но не колебания Гаршина останутся в памяти потомства. Слабые и болезненные стороны его мировоззрения и творчества принадлежат его эпохе, его классу. Они принадлежат прошлому. Историческое значение его личности и его дела — в другом. Гаршин, как человек и писатель, это фигура трагическая и, в конечном счете, — жертва того самого самодержавно-бюрократического режима, против которого, прямо или косвенно, были направлены лучшие его произведения. Заслуги писателя перед прогрессивной мыслью его времени — несомненны и значительны. Точно также несомненно и его право на сочувственное внимание советского читателя. Наша социалистическая современность ценит в нем его высокое реалистическое мастерство; созданные им яркие образы свободолюбивых, честных героев; классическую простоту, выразительность и лаконичность его языка; постоянное стремление его откликаться на самые живые, волнующие и злободневные вопросы своего времени. Нам дороги его демократические устремления, его жгучий протест против социально-политических условий той мрачной поры, когда он жил и работал, его горячая любовь ко всем трудящимся и угнетенным, его благородная мечта о лучшем будущем человечества.

К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ

- ¹ В. М. Гаршин. Полное собрание сочинений, изд. „Academia“, т. III, стр. 12.
- ² Там же, стр. 12.
- ³ Там же, стр. 404 и 405.
- ⁴ Е. М. Гаршин. В. М. Гаршин. Воспоминания. Родник, 1888, кн. 6, стр. 559—569.
- ⁵ В. М. Гаршин. Полное собр. соч., изд. А. Ф. Маркса, стр. 396.
- ⁶ Там же, стр. 400.
- ⁷ В. М. Гаршин, изд. „Academia“, т. III, стр. 15.
- ⁸ Там же, стр. 424.
- ⁹ А. Налимов. Гаршин-гимназист. Задушевное Слово (для старшего возраста), 1908, № 16, стр. 249.
- ¹⁰ В. М. Гаршин, изд. „Academia“, стр. 418.
- ¹¹ История гражданской войны в СССР, ОГИЗ, 1935, т. I, стр. 22.
- ¹² В. М. Гаршин, изд. „Academia“, т. III, стр. 34.
- ¹³ Газ. „Молва“ от 11 апреля 1876 г., № 15. В дальнейшем все цитаты из Гаршина приводятся по первопечатным текстам.
- ¹⁴ В. М. Гаршин, изд. „Academia“, т. III, стр. 20.
- ¹⁵ Там же, стр. 108.
- ¹⁶ Там же, стр. 278.
- ¹⁷ Там же, стр. 330.
- ¹⁸ Там же, стр. 333.
- ¹⁹ С. Дурьлин. В. М. Гаршин. Сборник „Звенья“, V, изд. „Academia“, 1935, стр. 586.
- ²⁰ И. И. Попов. Минувшее и пережитое, ч. I, Пб. „Колос“, 1924, стр. 36.
- ²¹ В. М. Гаршин, изд. „Academia“, т. III, стр. 23.
- ²² Там же, стр. 133.
- ²³ Там же, стр. 208.
- ²⁴ Первая книжка рассказов. СПб., 1882. Содержание: Четыре дня, Происшествие, Трус, Встреча, Художники, Ночь, Attalea princeps, То, чего не было. Вторая книжка рассказов. СПб., 1885. Содержание: Денщик и офицер, Из воспоминаний рядового Иванова, Красный цветок, Медведи, Сказка о жабе и розе, Надежда Николаевна.
- ²⁵ В. М. Гаршин, изд. „Academia“, т. III, стр. 440.
- ²⁶ Там же, стр. 232, курсив мой.
- ²⁷ Там же, стр. 284.
- ²⁸ Там же, стр. 319.

К ГЛАВЕ ВТОРОЙ

¹ Речь председателя Московского славянского комитета в заседании. одного от 6 марта. Приложение к № 10 „Гражданина“ за 1876 г., стр. 4—5. См. также речь И. Аксакова в день объявления войны. Речь, произнесенная председателем Моск. славянского благотвор. комитета в заседании 17 апреля. М., 1877 г. О настроениях славянофильских кругов после окончания войны см. „Речь И. С. Аксакова, произнесенная 22 июля 1878 г. в Моск. славянском благотворит. обществе“. Берлин, 1878.

² Русский Вестник, 1876, г, № 6. Мейрима или Босняки, драма М. Бана, с сербского, стр. 835.

³ Главнейшие политические статьи „Русского Вестника“: В. Неклюдов. Современные политические заметки, 1876, № 7, стр. 443—458, № 10, стр. 895—902; 1877, № 4. — Д. Аверкиев. По поводу статьи г. Неклюдова о восточном вопросе, 1876, № 8, стр. 902—909. — Р. К истории восточного вопроса, 1877, № 1, стр. 5—26. — В. Неклюдов. Дела на Востоке, 1877, № 1, стр. 442—447. — Военное обозрение, 1877, № 5 (посвящено объявлению войны). — Р. Оппозиционная литература в Англии по восточному вопросу, 1877, № 5. — Н. В. Щербань. Турция и турецкие деятели, 1878, № 1, стр. 308—365. — Л. Зисерман. Политическое обозрение (О Берлинском конгрессе), 1878, № 8, стр. 495—506. Очерки: А. Незлобин (Дьяков). В Белграде и на позиции. Рассказ очевидца, 1876, № 12, стр. 782—831. — Кн. Шаховской. С похода, 1877, № 8, стр. 867—882. — Петр Петров. Очерки герцеговинского восстания, 1877, №№ 11 и 12, стр. 358—385 и 627—664. Автор — полковник Монтеверде. — В. Яшеров. В Сербии 1876—1877. Записки добровольца, 1878, № 1, стр. 187—225. — Кн. А. Шаховской. Из воспоминания о первом походе за Балканы. 1878, № 3, стр. 445—462. Вошло в его книгу „Два похода за Балканы“. М., 1878. — В. П. Гамулецкий. Из недавнего прошлого, 1878, №№ 6, 8, 10, стр. 567—601, 760—802 и 605—664.

⁴ Вестник Европы, 1876, № 11, стр. 412.

⁵ Вестник Европы, 1877, № 5; Внутр. обзор., стр. 375.

⁶ Там же, 1878, № 1, Внутр. обзор., стр. 389.

⁷ См. также другие политические статьи „Вестника Европы“: Иностранная политика — 1876 г. №№ 2, 3, 5, 8, стр. 814—822; 384—391; 409—420 и 804—812. — А. П. Несколько слов по поводу южно-славянского вопроса, 1876, № 10, стр. 876—898. В статье проводится резкое разграничение внутренних вопросов и славянского движения. — Р. Корреспонденции из Берлина и Лондона, 1876, № 12, стр. 889—921. Сочувственно комментируются сведения о манифестациях в Англии в защиту балканских славян (гладстоновская кампания). — Внутреннее обозрение, 1877, № 2, стр. 807—831. Полемика со славянофилами. — А. П. По южно-славянскому вопросу, 1877, № 3 (Хроника), стр. 357—387. — Иностранная политика. Россия и протокол, 1877, № 4, стр. 796—806. Статья направлена против лондонского протокола: европейские державы должны предоставить самой России или вести войну с Турцией или дать Турции срок три года урегулировать положение христиан, а затем (в случае резни — немедленно) принять „меры понуждения“. — А. П. Старая и новая Болгария, 1877, № 5, стр. 289—317. Главное положение: „Для достойного, человеческого отношения к родственному

племени нужна прежде всего собственная зрелость общества, а потом знание этих родственных народностей (стр. 314). Эта статья встретила возражение газеты „Русский мир“ (№ 129), доказывавшей в соответствии со славянофильской платформой, что славяне нуждаются в России, потому что она является могущественным государственным телом, воплотившим „славянскую идею“. См. возражения А. П. на эту статью — Вестник Европы, 1877, № 6, стр. 803—809. — А. Н. [Пыпин]. Наша печать и болгарские дела, 1877, № 10, стр. 879—899. — Иностранная политика. Берлинский трактат, 1878, № 8, стр. 740—751. — В. К. Политическое значение Константинополя, 1878, № 9 (Хроника), стр. 423—433. В последних двух статьях дается оценка результатов войны.

⁸ Неделя, 1876, № 37 „Деревня по поводу славянского вопроса“ стр. 1206—1207.

⁹ Там же, 1877, № 47, стр. 1563.

¹⁰ Дело, 1877, № 3, стр. 172. Для „Недели“ характерны следующие статьи: Наши крестьяне и герцеговинские восстание (письмо из Москвы), 1876, № 11. — Успехи славян в России, 1876, 20, стр. 641—644. — Прошлое и настоящее славянского вопроса, 1876, № 23, стр. 737—740. — Айт. Письма из Сербии, 1876, № 24—25, стр. 803—806. Автор — Дм. Ант. Гольдштейн — умер 1 сент. 1876 г. от ран, полученных в сражении. — Мириться или воевать? 1876, № 29, стр. 929—933. — Решительная минута, 1876, № 38, стр. 1217—1220. — Земство в виду войны, 1876, № 46—47, стр. 1517—1521. — Л. О. (В. К. Лавровский). Что же дальше? Письмо из провинции, 1876, № 41, стр. 1335—1341. Статья очень показательна для периода предвоенного шовинистического возбуждения. — Рассказ добровольца, 1876, № 49—50, стр. 1645—1648. Статья написана в форме беседы автора с одним из добровольцев, вернувшихся из Сербии. Доброволец разочарован: „Теперь хоть золотом меня осыпай, не пойду“. „Опять же надо сказать, дрянь эти сербы большая... Турки от них бегут, а они посмотрят, посмотрят, да и сами убегут“. Аналогичные упреки по адресу сербов раздавались после их поражения и в других журналах и газетах, преимущественно реакционного направления. Тон был дан самим Александром II в его речи 24 октября 1876 г. на приеме московского дворянства и городского общества: „Черногорцы показали себя в этой неравной борьбе, как всегда, истинными героями. К сожалению, нельзя того же сказать про сербов, несмотря на присутствие в их рядах наших добровольцев, из коих многие заплатились кровью за славянское дело“ (см. „Неделя“, 1876, № 41, стр. 1314). Храбрость черногорцев в этой же статье характеризуется следующими словами добровольца: „Черногорцы да сербы из Босны — черти сущие! ружье у них в руках длинное-предлинное, а он из него не стреляет — норовит как бы ятаганом добратся; режет чисто. И как турка убил — сейчас ему нос отрезал и в карман; карман-то у него в крови, руки в крови, рож в крови, так и живет: не моется и не переодевается. Дьявол народ, одно слово“ (стр. 1647). — Итоги русско-славянского движения, 1877, № 1, стр. 4—7. — Литературно-житейские воспоминания, 1877, № 15, стр. 533—536. — Брать ли нам Константинополь? 1877, № 46. Автор — Василий Марков. Статья вошла в его сборник „На встречу“, 1878 г., вместе с другими его статьями из „Недели“ на эту же тему. См. также его статью „Политические беседы“

(Неделя, 1877, № 49, стр. 1658—1663), посвященную взятию Плевны — это типичный образец военной публицистики „Недели“.

¹¹ Позднее, в 1878 г. С. Шашков в рецензии на роман Д. Л. Мордовцева „Идеалисты и реалисты“, пародируя стиль Мордовцева, высмеял и его „свечу“: „Эх, ты, молодец, разудаленький, Давид Лукич, красно-солнышко. Уж как же ты раскинулся да раздвинулся, растянулся в ширь во все стороны и во всех концах ты работаешь золотым язычком, пером борзым. Даже в самых „Записках“ некрасовских ты затеплил свечу воску ярова, не простую свечу, всемирную, всемирно-всеславянскую“ (Дело, 1878, № 10, Новые книги, стр. 77).

¹² Щедрин. Письма, ГИЗ, 1926, стр. 140—141.

¹³ Вл. Дебагорий-Мокриевич. Воспоминания. СПб., 1906, стр. 296.

¹⁴ Любопытно отметить, что для „Вестника Европы“ зажиточность балканских славян была, напротив, лишним доводом в пользу освобождения: „Благосостояние болгар было, в сущности, лишний резон за освобождение. Оно свидетельствует только о трудолюбии народа, которое умело достичь благосостояния, несмотря на все неблагоприятные условия, и о благодатной природе страны, богато вознаграждающей труд. Но остается факт, что если болгарин владеет своим достоянием, то это не больше как счастливый случай, так как его ничто не обеспечивает от грабежа и всякого насилия (1877, № 10, стр. 886—887, статья А. Н. [Пыпин] „Наша печать и болгарские дела“).

¹⁵ Из Белграда (Второе письмо невоенного человека) Г—в. Отечественные Записки, 1877, № 1, стр. 107—120.

¹⁶ Отеч. Зап., 1877, № 2, стр. 283—304.

¹⁷ Н. Щедрин. Тряпичкины — очевидцы. Отеч. Зап., 1877, № 8, стр. 533—570, и его же: На досуге. Отеч. Зап., 1877, № 9, стр. 167—198.

¹⁸ А. М. Скабичевский в „Биржевых Ведомостях“ (1877, № 316) так оценил статью „Иностранца“: „Эго замечательная статья из всего, что только писалось о войне в нашей прессе с самого начала настоящей кампании, представляющая взгляды на войну, до сих пор не появлявшиеся на страницах наших журналов в таком систематическом, полном, искреннем и открытом виде“. Резко отрицательную оценку статьи „Иностранца“ дал В. Буренин, посвятивший ей в „Новом Времени“ целый фельетон (Литературные очерки, 1877, № 578). Цель статьи „Иностранца“ Буренин формулирует следующим образом: „Проявисти такое впечатление, чтобы русское общество отрезвилось от яко бы шовинистических стремлений и приобрело сознание, что настоящая война, кроме вреда для народного развития, не принесет нам ничего иного“. Эта же статья упоминается в письме П. В. Анненкова к М. Стасюлевичу, от 12 октября н. с. 1877 г. „Да чего вы боитесь от цензуры? — спрашивает Анненков. Ведь промолчала же она перед статьей „О. З“, где доказывалось, что Болгарию незачем освобождать, ибо притеснения и гнет турок для нее легче, чем приложение к ней экономических...“ (конец письма отсутствует) (М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. II, стр. 351).

¹⁹ В. М. Гаршин. Полное собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 93—94.

²⁰ Там же, стр. 104.

²¹ Там же, стр. 110.

²² Там же, стр. 130.

²³ Там же, стр. 130.

²⁴ Там же, стр. 125, 133.

²⁵ Позиция „Дела“ целиком совпадает с позицией „Отеч. Зап“. „Дело“ прошло в общем тот же путь развития. Для периода „возбуждения“ характерны следующие статьи: С. Ш. (Шашков). На страдающих славян, 1876, № 8, стр. 96—102, 2-я пагин. — Н. Ш. (Шелгунов). Внутреннее обозрение, 1876, № 10, стр. 398—423, 2-я пагин. Начало „отрезвления“: 1876, № 11. Новые книги. Отзыв о книге Гладстона. Стр. 394—399, 2-я пагин. — Н. Мизантропов (Пятковский). Калейдоскоп, 1876, № 12, стр. 128—162, 2-я пагин. — Н. Ш. Внутреннее Обозрение, 1877, № 2, стр. 140—168, 2-я пагин. — Н. Мизантропов. Калейдоскоп, 1877, № 3, стр. 170—204, 2-я пагин. Резко отрицательная оценка войны начинается с самого момента ее объявления: Н. Мизантропов. Калейдоскоп, 1877, №№ 4 и 5, стр. 172—198 и 122—140, 2-я пагин. Очень интересны сатирические статьи Откровенного Писателя (Станюкович). Картинки общественной жизни, 1877, №№ 5, 6, 9, 12, стр. 140—166, 146—172, 98—132 и 106—132, 2-я пагин.

²⁶ С. Окрейц. На войне и дома. СПб., 1880. Роман С. Окрейца является любопытным образцом бульварного романа о русско-турецкой войне. Роман составлен из разного рода литературных штампов: а) штампы военные: турецкие зверства, идеальные сестры милосердия, описания тяжело раненых солдат и т. п.; военный материал восходит к газете и корреспонденции; есть прямые совпадения с корреспонденциями Немировича-Данченко („Год войны“, 1878); б) штампы антинигилистического романа: социалистический „притон“, где хранятся полученные из-за границы ящики с пироксилином; честная девушка, попавшая под влияние социалистов; „еврейчик“-революционер; социалистка, переодетая мужчиной, выполняет тайные поручения крамольного характера; ответственный революционер в роли слуги и т. п.; в) штампы авантюрного романа: герой в плену у турок, он попадает в турецкий гарем, любовь к нему прекрасной одалиски, ее трагическая гибель и т. п. Любопытно здесь соединение темы войны с темой революционного движения. См. также роман Вс. Крестовского „Тамара Бендавид“. СПб., 1890.

²⁷ Дело, 1877, № 11, Новые книги, стр. 373; 2-я нум.

²⁸ Н. Михайловский (Г. Темкин) В перемежку, гл. III, Отеч. Зап., 1876, № 5, стр. 215, 2-я нум.

²⁹ В. М. Гаршин. Полное собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 116.

³⁰ Там же, стр. 121.

³¹ Там же, стр. 137.

³² Там же, стр. 134.

³³ И. Щеглов. Первое сражение. Новое Обозрение, 1881, № 3, стр. 25—58. — Поручик Пospelов. Из записной книжки молодого офицера. Вестник Европы, 1881, № 4, стр. 729—764. — Неудачный герой. Отеч. Зап., 1881, № 9, стр. 155—178.

³⁴ Ф. Решимов в своей, в общем, благоприятной рецензии на „Первое сражение“, помещенной в „Деле“, отметил примитивность проблемной сто-

роны рассказа. „И Алешин, и Зайцев и солдатики каждый молился в своем наболевшем сердце: „Господи да когда же это кончится“. Мораль рассказа, как видите, незамысловатая... он повторяет азбучную истину, но мало ли еще азбучных истин нужно повторять (Дело, 1881, № 5, стр. 90, 2-я нум.). В этой же рецензии отмечается связь „Первого сражения“ с гаршинскими „Чегырьми днями“. „Описание самого сражения и составляет лучшую часть рассказа. Правда, невольно припоминается при этом Толстой и даже „Три дня“ (sic! Г. Б.) Гаршина. Но эти сравнения, впрочем, не мешают нескольким недурным страницам и из нашего автора“ (стр. 89, 2-я нум.).

³⁵ Отеч. Зап., 1878, № 7, стр. 20, 2-я нум.

³⁶ Вперед, 1876, № 42.

³⁷ Вестник Европы, 1878, № 1, стр. 388.

³⁸ К. Арсеньев. Критические этюды, т. I, СПб., 1888, стр. 226.

³⁹ И. Щеглов. Идиллия. Вестник Европы, 1884, № 12, стр. 302—368.

⁴⁰ А. Н. Бежецкий. Военные на войне. СПб., 1885, тип. Суворина. Впервые печатались в газете „Новое Время“ в 1884 г.

⁴¹ См. прим. 33.

⁴² См. прим. 33.

⁴³ См. прим. 40.

⁴⁴ См. „Русский Вестник“, 1878, № 6, стр. 573—574; ср. у Гаршина по „Полн. собр. соч.“, изд. А. Маркса, стр. 223—224.

⁴⁵ В. И. Немирович-Данченко. Год войны. Дневник русского корреспондента, 1880, т. II, стр. 104—105.

⁴⁶ Отеч. Зап., 1878, № 10, Новые книги, стр. 231—236, 2-я нум.

⁴⁷ См. В. М. Гаршин. Полное собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 122.

⁴⁸ Отеч. Зап., 1880, № 2, стр. 137—140, 2-я нум.

⁴⁹ Е. Гаршин. Как писался „Рядовой Иванов“. Солнце России, 1913, № 13, от 23 марта, стр. 5.

К ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ

¹ В. И. Ленин. Соч., т. I, стр. 175.

² Русское Богатство, 1880, №№ 3, 5 и 6. Оранский (Златовратский). Народный вопрос.

³ Н. Михайловский. Записки Современника. Отеч. Зап., 1882, № 1, стр. 177, 2-я нум.

⁴ Русская Речь, 1879, Июль. Евгений Марков. Критические беседы. V. Буржуазные идеалы, стр. 204 и 206.

⁵ Там же, стр. 210—211.

⁶ См. любопытную полемику о социализме между „Землей и Волей“ и „Вестником Европы“: Вестник Европы, 1878, № 9, стр. 391—394; Земля и Воля, 25 окт. 1878, № 1; Вестник Европы, 1878, № 12, стр. 831—842; Земля и Воля, 15 янв., 1879, № 3.

⁷ См. Ткачев. Очерки современной журналистики. Статья 3-я. Дело, 1879, № 11. Ткачев характеризует Евг. Маркова как „выразителя интересов

и требований зажиточных лавочников и вообще достаточной улицы“ (стр. 62, 2-я нум.).

⁸ Вестник Европы, 1876, № 8, стр. 801.

⁹ Ленин. Соч., т. II, стр. 330.

¹⁰ Н. Михайловский. Литературные Заметки. Отеч. Зап., 1879, № 12, стр. 195—203, 2-я пагин.; резкую критику этой статьи см. в „Русской Речи“, 1880, № 3, статья А. Н. „Современные этюды“, стр. 281—293; ответ Михайловского на эту статью см. „Отеч. Зап.“, 1880, № 3 „Литературные Заметки“, стр. 113—126, 2-я пагин., ответ А. Н. на статью Михайловского см. „Русская Речь“, 1880, № 5 „По поводу поднятой перчатки“, стр. 407—416.

¹¹ Отеч. Зап., 1880, № 8, стр. 226, 2-я нум.

¹² Русская Речь, 1879, № 2, Критические беседы, стр. 233—260.

¹³ Русская Речь, 1879, № 3, стр. 226. Об этом же писал М. Стасюлевич Я. Полонскому еще в 1871 г.: „Совершенно согласен с Вами, добрейший Яков Петрович, что если бы истина проникла к вам не через «щели», то и «дух отрицания не царил бы так легко в наше время»“ („М. Стасюлевич и его современники“, т. III, стр. 498, № 7).

¹⁴ Н. Михайловский. Впередке. Отеч. Зап., 1876, № 8, стр. 236—237.

¹⁵ Там же, 1877, № 4, стр. 250.

¹⁶ Отеч. Зап., 1882, № 9, Новые книги, стр. 130—131, 2-я нум.

¹⁷ Новое Время, 1876, № 33 от 1 апр.

¹⁸ Неделя, 1876, № 15, стр. 509.

¹⁹ Незлобин. Кружковщина. Одесса, 1880, 2-е изд., стр. 170.

²⁰ О самоубийствах см. еще Н. Михайловский. Житейские и художественные драмы. Отеч. Зап., 1879, № 1, стр. 81—90, и Н. Николадзе. По поводу одной смерти. Устои, 1882, № 7, стр. 40—49. Отдельные факты самоубийств часто обсуждались и на страницах газет. Приведем, для примера, отрывок из фельетона Суворина (Незнакомец) в „Нов. Времени“ (1876, № 55), некоторые сюжетные положения которого отчасти напоминают гаршинское „Приспешивание“.

„Молодой человек и молодая девушка были очень дружны между собой. Он заходил иногда к ней и проводил с ней целые часы, мирно беседуя; она к нему не ходила. Сильной симпатии не было между ними; она могла родиться в будущем, но пока они были только дружны. Молодой человек скучал, говорил о смерти; они дебатировали этот вопрос не однажды. Раз встав утром, девушку как-то особенно повлекло к молодому человеку. „Я непременно пойду к нему. Мне кажется, что он в настоящую минуту нуждается во мне, что с ним что-то случилось“. Она собралась и задумалась, она никогда у него не бывала; как он на это взглянет? Он, такой рассудительный, серьезный. Но минута нерешительности прошла и она отправилась. По дороге ее встречает знакомый.

„Вы куда?—спрашивает он.

Она говорит.

„— Не ходите к нему.

„— Отчего?

„— Не ходите, прошу вас. Это будет крайне не во время.

„— Ему будет это неприятно?

„— Мм... да, это неприятно ему будет.

Она настаивает на своем и уходит.

Знакомый смотрит ей вслед, делает несколько шагов, чтобы догнать ее; на лице его, вообще беспокойном, является нерешимость, злость какая-то. Но он останавливается, махает рукой и идет своей дорогой...

Она поднимается по лестнице.

Навстречу ей сбегает полицейский. У ней сердце дрогнуло. „Неужели он... такой благоразумный, такой рассудительный?.. — думает она и быстро подходит к двери. Она не заперта. Много народу. Не помня себя, она бросается в комнату. Он лежит на диване с мертвенным лицом, с закрытыми глазами и зияющей раной во лбу. Кровь текла по векам, по лицу. У девушки достало сил броситься к нему, схватить его руку... Далее она не выдержала и упала без чувств. „Бог знает, одна ли тут меланхолия“.

Здесь любопытна роль знакомого, который встречает девушку по дороге к самоубийце. Он, очевидно, знает о намерении молодого человека и, может быть, даже внушил ему эту мысль. Это, как видно, человек беспокойный и озлобленный. Он выполняет здесь, очевидно, ту же функцию, что и социалист в рассказе Незлобина. Роль этого знакомого объясняет и многозначительную концовку Суворина („Бог знает, одна ли тут меланхолия“), которая также намекает на чью-то злую волю.

См. в „Неделе“, 1876, № 13—14. Письмо девушки-самоубийцы (стр. 474); 1877, № 42. Причины сумасшествий.

²¹ Полное собр. соч. В. М. Гаршина, изд. „Academia“, т. III, стр. 154.

²² Там же, стр. 196.

²³ Русское Богатство, 1882, № 4. Литературная Летопись.

²⁴ Отеч. Зап., 1882, № 8, стр. 337—357.

²⁵ См. Н. Михайловский. Теория Дарвина и общественная наука. Отеч. Зап., 1870, № 1, стр. 57—98; № 3, стр. 1—47; 1871, № 1, стр. 1—28; № 12, стр. 547—576; 1873, № 2, стр. 445—478, и его же — Дарвинизм и оперетки Оффенбаха. Отеч. Зап., 1871, № 10, стр. 227—256. Социальный дарвинизм, как оправдание буржуазной практики — одна из руководящих идей этих работ.

²⁶ Вторая выставка «Общества выставок художественных произведений». Новости, 1877, № 68 от 12 марта.

²⁷ „Конкурс на постоянной выставке художественных произведений“ Новости, 1877, № 91, от 7 апр.

²⁸ „Конкурс...“

²⁹ Там же.

³⁰ „Вторая выставка...“

³¹ Вестник Европы, 1876, № 8, Внутреннее обозр. стр. 790.

³² См. „Земля и Воля“ № 3. С бумагопрядильной фабрики Кенига (в отделе „Корреспонденции“); № 4 — Волнения в среде фабричного населения. — Я. Абрамов. Из фабрично-заводского мира. 2 статьи. Отеч. Зап., 1882, Совр. Обзор., № 3, стр. 1—37, № 4, стр. 181—212.

³³ Слово, 1879, № 1, стр. 39—75, и № 2, стр. 1—55.

³⁴ „Читали ли вы в «Слове» «День итога» Альбова? Вы, я знаю, не любите ничего, кроме «О. З.», но это прочтите. Дурак Буренин говорит, что это Достоевский, разыгранный, как „Фрейшиц“ перстами робких уче-

ниц", но это, по-моему, чистое вранье. Некоторая неловкость изложения есть, это правда, но по-моему, такой ясности и точности анализа у Д. не было". В. Гаршин. Полн. собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 177.

³⁵ О том, что тенденции Альбова были все же приемлемы для народных, свидетельствует отзыв Н. Михайловского о произведениях Альбова и Баранцевича: „Для обоих писателей, очевидно, одна и та же сторона жизни мрачною тенью ложится на все, к чему они прикасаются пером: одиночество, при наличии каких-то тяжелых ненужных уз. Благодарная тема и я не буду предлагать молодым беллетристам сойти с избранного ими пути. Это действительно одно из самых больных мест нашей современной жизни. Не добро быть человеку единому, это давно сказано, но еще хуже быть человеку единому, когда он в то же время связан... Баранцевич рассказал целую серию эпизодов из жизни одиноких людей и все это выходит как будто случайно, а у г. Альбова даже до душевной болезни исключительно (имеется в виду „День итога“. Г. Б.), но когда случайностей так много, то они, должно быть, не случайности; должно быть во всем строе нынешней жизни есть что-то такое, какое-то общее течение, определяющее все эти случайности“ (Отеч. Зап., 1884, № 2. Письмо в редакцию, подпись — Посторонний, стр. 223—241, 2-я нум.).

³⁶ См. М. Альбов. Соч., изд. Маркса, т. II, стр. 295—329.

³⁷ Русская Мысль, 1887, № 12, стр. 1—51.

³⁸ Слово, 1880, № 6, стр. 110—113.

³⁹ Слово, 1880, № 11, стр. 1—63.

⁴⁰ Вестник Европы, 1882, № 10, стр. 463—510.

⁴¹ Полярная Звезда, 1881, № 6, стр. 1—15.

⁴² См. также аналогичный его рассказ „Отъезд“. Вестник Европы, 1882, № 8, стр. 423—444.

⁴³ Неделя, 1884, № 43, передовая, курсив автора.

⁴⁴ Оба рассказа помещены в „Устоях“: рассказ К. Баранцевича в № 1 (стр. 164—224) и № (стр. 1—62) за 1882 г. (перепечатан в его сборнике „Под гнетом“, СПб., 1883); рассказ Я. Абрамова в № 12 за 1882 г., стр. 53—79.

⁴⁵ Н. Николадзе. Борцы поневоле. Отеч. Зап., 1882, № 11, стр. 38, 2-я нум.

⁴⁶ Слово, 1880, № 1, стр. 145—159.

⁴⁷ М. Белинский (И. Ясинский). Шесть рассказов. СПб., 1881, стр. 211—230.

⁴⁸ Отеч. Зап., 1881, № 5, стр. 5—114.

⁴⁹ Д. Л. Мордовцев. Знамена времени. ГИЗ, 1923.

⁵⁰ Новое Время, 1876, № 18, Литературные очерки. Подпись: Фауст Щигровского уезда.

⁵¹ Там же, № 19, Очерки текущей литературы.

⁵² Русский Вестник, 1877, № 2, стр. 703—762.

⁵³ Прямое влияние гаршинского „Красного цветка“ мы находим в одноактном драматическом этюде И. Щеглова того же названия, написанном в конце 90-х гг. Герой пьесы Щеглова также сумасшедший. Он сорвал красный цветок и за это подвергается преследованиям. Гаршинская трак-

товка образа целиком перенесена сюда. Приведем отрывок, наглядно вскрывающий зависимость этюда Щеглова от рассказа Гаршина:

„Черепова. Позвольте, я что-то такое теперь припоминаю... есть где-то рассказ или легенда; какой-то мечтатель срывает и прячет у себя на груди красный цветок, как эмблему борьбы за правду.

Незнакомец (страстно). О нет, это больше, чем эмблема борьбы за правду... В этом красном цветке для нас, для немногих последних борцов, как бы олицетворена вся неутолимая скорбь все невыплаканные слезы бедного человечества...“

Незнакомец в вдохновенном бреде предсказывает полное освобождение человечества:

...На земле нет ни одной столицы,
Тиранов также нет, и все как сон прошло,
Рабы, оковы и темницы...

Пьеса ставилась во время первой революции — в 1906 г. — на сцене Петербургского Литературно-артистического кружка, с Н. П. Орленевым в главной роли. Напечатана в сборнике И. Щеглова „Красный цветок“. СПб., 1907, стр. 1—26

К ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОЙ

¹ Полн. собр. сказок Андерсена, изд. 2-е Трубниковой и Стасовой, СПб., 1867, т. I, стр. 98—104.

² Там же, стр. 49—66.

В финале этой же сказки Андерсена применен прием объяснения осведомленности автора относительно рассказываемой им истории, который имеется и в финале сказки Гаршина. У Андерсена: «Прощай, будь счастлива», — сказала ей [девочке-с-пальчик] маленькая ласточка с глубокой грустью, и снова улетела из теплых краев далеко, назад, в Данию. Там было у ней маленькое гнездо под окном, где живет человек, что умеет сказки рассказывать. Оттого-то мы и знаем всю эту сказку“ (см. также сказку „Прыгун“). У Гаршина: „Когда она [роза] начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом уже через много лет подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю“.

³ См. сказки Андерсена: „Улитка и розовый куст“, „Соседи“, „Роза с могилы Гомера“, „Прекраснейшая роза мира“.

⁴ Полное собр. сказок Андерсена, изд. 2-е, СПб., 1867, стр. 23—48. См. также „История одной матери“ (т. III, стр. 142—151).

⁵ Сказки Кота-Мурлыки, собранные Николаем Вагнером, изд. Стасовой и Трубниковой, СПб., 1872, стр. 1—10.

⁶ Сказки Кота-Мурлыки, изд. 3-е, СПб., 1883, стр. 74—102.

⁷ Полное собр. сказок Андерсена, СПб., 1863, вып. 1, стр. 91—94.

⁸ Полное собр. сказок Андерсена, Перевод Марко Вовчка. СПб., 1878, т. 2, стр. 273—279.

⁹ Там же, стр. 273—279.

¹⁰ Сказки Кота-Мурлыки. СПб., 1872, стр. 81—90.

¹¹ Воспоминания В. Г. Черткова напечатаны в качестве приложения к работе С. Дурылина „Вс. М. Гаршин“ — сборник „Звенья“, изд. „Academia“, т. V, 1935, стр. 677—678.

¹² В. М. Гаршин. Полн. собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 196—197 и 353.

¹³ В. И. Ленин, т. XV, стр. 103.

¹⁴ В. М. Гаршин. Полн. собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 357.

¹⁵ Дело, 1880. №№ 3 и 5. В. Басардин. Новейший натурализм. См. также С. Темлинский. Золаизм в России. М., 1880.

¹⁶ А. Скабичевский. Гр. Л. Н. Толстой как художник и мыслитель. Отеч. Зап., 1872 № 8, стр. 274.

¹⁷ В 1885 г. в письме „К неизвестной“ Гаршин так оценивает данный ему для отзыва рассказ адресата: „Как мне кажется, Ваш отрывок написан простым, живым и совершенно литературным языком; насколько можно (судить) требовать от отрывка в 5—6 печатных страниц, выведенное лицо очерчено ясно и, что мне особенно нравится, без *стремления к протоколизму*“: за выведенной фигурой видно и правильное отношение к ней автора, не впадающего однако и в тенденцию (В. М. Гаршин. Полн. собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 356, курсив наш).

¹⁸ Об этих судебных процессах см. Н. Карабчевский. Около правосудия. СПб., 1902. Часть из статей, входящих в эту книгу, печаталась в 70-х—80-х гг. в „Неделе“; см., например, „Проститутка-убийца“, Неделя, 1876 г., № 43. О деле Ландсберга см. А. Ф. Кони. На жизненном пути, т. I. Об интересе Гаршина к этому процессу см. „Письма“, стр. 184. После окончания „Надежды Николаевны“ Гаршину довелось быть присяжным заседателем по делу Немчиновых. См. В. М. Гаршин, изд. „Academia“, т. III, стр. 360.

¹⁹ См. Гражданин, 1884, № 50: „По поводу судебного романа“. См. также „Московские Ведомости“, 1882, № 246 от 5 сент. (передовая): „...никогда дело не доходило до того, чтобы само преступление торжественно оправдывалось и освящалось. А теперь мы видим, что дело, по законам всех стран преступное, чуть не возводится в правило. Закон, которым поддерживается нравственный порядок между людьми, фактически отменяется. Говорят о злоупотреблениях, а попробуйте заикнуться о необходимости дисциплины, без которой не может держаться никакое общество и правильно действовать никакая администрация, и вся шайка этих молодцов завопит: „бюрократия, полицейские меры, аракчеевщина“.

²⁰ А. Ф. Кони. Воспоминания о деле Веры Засулич, изд. „Academia“, 1933, стр. 230—231.

²¹ Северный Вестник, 1886, № 6. Н. Михайловский. Дневник читателя, стр. 216 (2-я нум.).

²² Северный Вестник, 1886, № 5. В. Лесевич. Буддийский нравственный тип, стр. 50 и 77.

²³ Русская Мысль, 1886, № 7, Библиогр. отдел, стр. 65—66.

²⁴ Русская Мысль, 1886, № 6, Библиогр. отдел, стр. 377—378.

²⁵ Неделя, 1886, № 38. Р. Д. Гр. Л. Н. Толстой в его этическом учении, стр. 1262.

²⁶ Там же, № 40, стр. 1323.

²⁷ „Два полюса“. Роман М. И. Красова (А. Е. Оболенского) и вторая серия „Жаждающих света“, повести и рассказы того же автора. СПб., 1885.

²⁸ Русская Мысль, 1885, № 4, стр. 216.

²⁹ Русская Мысль, 1886, № 12, Библиограф. отдел, стр. 384.

³⁰ „Что читать народу“, ч. II, СПб., 1889, стр. 83.

³¹ „Цветник“. Сборник рассказов, изд. „Посредник“, М., 1887.

³² „Повесть душеполезна о царе Агее, како пострада гордости ради“ была напечатана в популярном сборнике А. Н. Афанасьева. Русские народные легенды. М., 1860. Но Гаршин все же, очевидно, пользовался не этим изданием легенды. Об этом говорит расхождение Гаршина с ред. Афанасьева в одном эпизоде повести: у Афанасьева царь, увидев оленя в поле, отправляется на охоту, у Гаршина же — оленя видит юноша и доносит об этом царю. Этот же вариант мы имеем и в рукописных списках повести. Возможно, что Гаршин пользовался изданием этой повести в „Розысканиях в области русского духовного стиха“ А. Н. Веселовского (Зап. И. А. Н., т. 40, прил. № 4, СПб., 1881), где этот эпизод изложен ближе к Гаршину „Видев же нещии юноши оленя в концы поля и пришедши сказаща царю“. Не исключена однако возможность, что Гаршин пользовался непосредственно рукописным материалом: в некоторых неопубликованных рукописях, хранящихся в Ленинградской публичной библиотеке, эпизод с оленем излагается совсем, как у Гаршина: царя извещает об олене не „нещии юноши“, а один юноша. Все цитаты приводятся нами ниже по одной из этих неопубликованных рукописей. (Погод. древнерусниги № 1936.)

³³ Повесть о жадном мужике Ермиле А. И. Эртеля. Изд. „Посредник“, М., 1886. О влиянии толстовства на Эртеля и об отношении его к учению Толстого богатый материал дают его „Письма“. СПб., 1909.

³⁴ I. Черные вороны. II. Весь век для других, изд. „Посредник“, М., 1886, № 43.

³⁵ Чудесный камень мудрецов или алхимик. П. В. Засодимского, изд. „Посредник“, М., 1886, № 53.

³⁶ П. В. Засодимский. Задумевные рассказы, т. II, СПб., 1885. В издании „Посредника“ эта повесть подверглась переработке, произведенной, однако, не автором, как можно судить по заглавию: Рыжий граф. Составлено по рассказу П. В. Засодимского (Посредник, № 54).

³⁷ См. „Литературное Наследство“, № 13—14, стр. 509—518. Сообщение М. Чистяковой: А. Н. Толстой и Салтыков. О значении „Посредника“ в деле просвещения рабочей и крестьянской массы мы имеем ценное свидетельство Н. К. Крупской: „Живя долгое время за границей, я не имела возможности следить за деятельностью „Посредника“, но я помню, какое громадное значение она имела в конце 80-х годов. „Посредник“ бросал широкими пригоршнями семя знания в рабочие и крестьянские массы. В восьмидесятые годы знание было запретным плодом для трудящихся и поэтому издательство „Посредник“ привлекло к себе всеобщее внимание“. („Сорок лет служения людям“. Сборник ст., посв. И. И. Горбунову-Посадову, М., 1925 стр. 115).

³⁸ Христос в гостях у мужика. Рассказ Н. С. Лескова. Изд. „Посредник“, М., 1886. — Совестный Данила и Прекрасная Аза. Две легенды по старинному прологу, составлены Н. С. Лесковым. М., 1889.

- ³⁹ В. М. Гаршин. Полн. собр. соч., изд. „Academia“, т. III, стр. 353.
⁴⁰ Там же, стр. 391.
⁴¹ Русский Библиофил, 1913, № 4, стр. 84.
⁴² А. Скабичевский. Соч. СПб. 1903, т. II, стр. 178.
⁴³ „Памяти Гаршина“. СПб., 1889, стр. 101.

К ГЛАВЕ ПЯТОЙ

¹ Новое Время, 1877, № 606, от 4 ноября. Литературные очерки. В. Буренин. См. также „Новое Время“, 1877, № 599 от 28 октября упоминание о „Четырех днях“ в „Лит. Очерках“ Буренина.

² Слово, 1880, № 2—3. С. Венгеров. Беллетристики-дебютанты, стр. 104 сл. сл.

³ Устои, 1882, № 9—10. Алкандров. Жизнь в литературе и литература в жизни (Письма к читателю), стр. 21—44.

⁴ Направление „Устоев“ охарактеризовано в сборнике Б. П. Козьмина „От девятнадцатого февраля к первому марта“, 1930.

⁵ Отеч. Зап., 1882, № 8, Новые книги, стр. 223—225. Е. Е. Колосов приписывает эту рецензию Н. К. Михайловскому, но его аргументация представляется нам недостаточно убедительной. См. его вступительную статью к X т. „Полного собр. соч.“ Н. К. Михайловского, изд. 2, СПб., 1913, стр. XLIII—L.

⁶ Русское Богатство, 1882, № 8. М. Гарусов. Гамлет наших дней стр. 60—79. Перепечатана в полном собрании сочинений В. Гаршина, изд. Маркс, стр. 539—550.

⁷ Н. К. Михайловский. Дневник читателя. Северный Вестник, 1885, № 12, стр. 266—284, и 1886, № 2, стр. 289—293.

⁸ Отеч. Зап., 1882, № 11, Совр. Обзор., стр. 35—56. Н. Николадзе. Борцы по-неволе.

⁹ Дело, 1882, № 8, стр. 45—46 (2-я нум.), без подписи. Цитируется в полном собр. соч. В. М. Гаршина, изд. „Academia“, т. III, стр. 473. Приводим главнейшие текстуальные совпадения этой рецензии со статьей М. Протопопова „Всеволод Гаршин“, доказывающие принадлежность ему и этой анонимной рецензии.

Рецензия „Дела“

1. В книжке г. Г. есть между прочим *грациозная* прелестно написанная сказка или *аллегория*.

2. Наша борьба представляется ему бессмысленной сутолокой, по поводу наших идеалов он спрашивает „только то?“

3. ...другие растения — занимались пересудами, дрязгами и всякими личными делами и делюшками...

Статья М. Протопопова (Сев. Вестник, 1888, № 7; стр. 1—23, 2-я нум.):

1. На этот раз он избрал форму довольно *грациозной аллегии*.

2. В „Attalea princeps“ мы наблюдаем выражение того же сомнения относительно достоинств наших общественных идеалов.

3. В ботаническом саду и в оранжерее разного рода тропические растения ведут между собою беседу, хвастают друг перед другом своими достоинствами, подпускают друг другу шпильки, сплетничают, клеветают — словом

4. Изнывать по поводу бренности и ничтожности всего земного и людского, значит терять и силы, которые так нужны, и время, которого так мало. Вечность, разумеется, вечна, бесконечность — бесконечна, а необъятное — необъятно, только что же из этого следует?

5. ...г. Гаршин *тоскливо спрашивает*: „*есть ли в сем поле жив человек?*“

6. В своих „рассказах“ г. Гаршин является не учителем, а как бы *конфидентом* читателя.

Учить он не берется, потому что сам стоит на перепутье, удручаемый сомнениями... и вот, *он изливается на груди друга читателя*.

ведут себя совершенно, как люди. Одна пальма не принимает участия в этих дразгах.

4. Раз меркою явлений мы избираем то, что само по себе не имеет никакого измерения — вечность и бесконечность, мы фатально-логически приходим к пессимистическому выводу, что все пустяки.

5. Гаршин, как богатырь сказки, *тоскливо спрашивал „есть ли в сем поле жив человек“* и не слыша отклика впадал в еще большее уныние.

6. Его произведения не ряд ответов, а ряд вопросов. Он не поучает читателя, а как бы *изливается перед ним*.

Гаршин не учит — он как бы советуется, его тревожат разные иллюзии и он с прелестной доверчивостью, с трогательной искренностью как бы *изливается на груди друга читателя*.

Читатель не ученик, а *конфидент* его.

¹⁰ Страна, 1880, № 50 от 26 июня. Рецензия на № 6 „Отч. Зап.“

¹¹ Вестник Европы, 1882, № 10. Литерат. обозрение. В. А., стр. 886—892.

¹² Русская Речь, 1880, № 12. Евг. Марков. Критические беседы, стр. 219—221.

¹³ Мысль, 1882, № 9. Созерцатель. Обо всем, стр. 362—365. Аналогичную оценку Гаршина см. также в следующих статьях:

а) „Русская Мысль“, 1882, № 11. О новых людях. Е. Н., стр. 69—73. Эта статья, по сравнению с вышеприведенными, выдержана в более спокойном тоне.

„Все, чем богата молодость — вера, любовь, — самая искренняя, самая святая, неуспевшая еще окутаться обыденной пошлостью, стирающей все чистое и живое — все найдете у В. Гаршина, но найдете одновременно, почти рядом с наводящим ужас и подкашивающим всякую энергию отчаянием: автор видит «дно жизни»“.

Об „Attalea princeps“: „И неужели не надо хотеть и стремиться к лучшему? — спрашивает удивленный читатель, так как, кроме этого, отбивающего всякую энергию вывода из приведенного рассказа сделать нельзя.“

б) „Литература и жизнь“ (подпись: ...др-ов), помещенную в „Петербургском Листке“, 1883, № 189 от 20 августа. В этой статье Гаршин рассматривается как писатель тенденциозный, ему ставится в вину склонность к параллелям обличительного характера (ср. противоположную оценку этого

же факта в рецензии „Отеч. Зап.“, 1882, № 8). В связь с этим ставятся и пессимистические мотивы — „плаксивость“, которая также резко осуждается. Лучшими рассказами Гаршина автор считает „Ночь“, а затем — „Четыре дня“ и „Художники“. „Рассказы «Трус» и «Прояснение», — пишет рецензент, — просто мелодраматичны, а «Встреча» — совсем слабое произведение полублудливого характера“. „Петербургский Листок“ — желтая газета, но с либеральной окраской. Во всяком случае она противопоставляет себя, с одной стороны, „Гражданину“, а с другой — журналу „Дело“.

в) Любопытную критику Гаршина по мотивам, характерным для желтой прессы, дает рецензент „Нивы“ 1882 г., № 30, стр. 717. Здесь Гаршину ставится в вину стремление разрешать „проклятые вопросы“, вместо того, чтобы писать непритязательные рассказы для легкого чтения, узаконившиеся в европейской литературе. Приводим эту рецензию:

„В европейской литературе узаконился целый отдел беллетристики, весьма распространенной и имеющей место в многочисленных изданиях литературных и особенно иллюстрированных. Это часто очень талантливые произведения, не имеющие в виду ничего кроме занимательного сюжета и мастерства собственно техники рассказа. Автор знает размер своего таланта, знает, что он только недурной рассказчик и за большее не берется. У нас не то, у нас каждый, начиная писать очерк в несколько строк, пыжится в воля, старается поставить какой-нибудь общественный «проклятый» вопрос, разрешить глубокую задачу. Впечатление самое жалкое. Он ничего не ставит и не разрешает, не справляется с задачей, а только наводит уныние скучным, вечно протестующим против чего то тоном. Этого недостатка не избег и г. Гаршин, которого рассказы помещаются часто в разных журналах и у которого никак нельзя отнять таланта занимательного, рассказчика“.

г) В. Михневич. Наши знакомые. Фельетонный словарь современников. СПб., 1884, стр. 51: „Гаршин — лучшая надежда молодой беллетристики «Отеч. Записок», но, кажется, гораздо менее чреватая талантом и художественной плодотворностью, чем протрубили о ней друзья и дружеская критика. Начал г. Гаршин блистательно — превосходным, оригинальным по письму и проникнутым жгучим чувством человечности рассказом о войне и страстогерпстве на войне 1877 г., в которой он лично принимал участие. К сожалению, с той поры выше, краше и лучше он ничего не написал. Муза его весьма скудна продуктивностью и до сих пор ничего большего, выдающегося не произвела... Впрочем, г. Гаршин еще молод и — будущее его впереди. Отличительная черта творчества г. Гаршина — глубокое сомнение в жизни, в счастье, которые в глазах его и его героев оказываются печальной суетой сует, что, быть может, и с обстоятельствами дела согласно“.

¹⁴ Южный Край, 1882, № 595 от 18 сентября. Всеволод Гаршин. Рассказы. Подпись: Г.

¹⁵ Южный Край, 1883, № 983 от 29 октября. Литературные заметки. Г.

Борьбу за отвоевание Гаршина от радикального лагеря Ю. Говоруха-Отрок продолжал и в последующие годы. См. его „Литерат. Заметки“ в той же газете за 1886 г., № 1787 от 9 марта, посвященные полемике с цитированными статьями Н. Михайловского из „Северного Вестника“.

„Если поверить г. Читателю, то все содержание произведений г. Гаршина является не более, как иллюстрацией к фельетонам одного фельетониста покойных «Отеч. Записок», который, подобно г. Читателю, также любил намекать на высшую мысль“.

Говоруха-Отрок решительно возражает против зачисления Гаршина к лагерю „Отеч. Записок“.

„У г. Гаршина есть рассказ «Ночь». На мой взгляд это один из лучших рассказов этого автора. В рассказе изображается (хоть довольно сбивчиво и не выдержанно) борьба «голоса плоти» и «голоса духа»... «Голос плоти», в конце концов, побеждает... потому что «голосу духа» не за что уцепиться, не на чем утвердиться, так как утвердиться можно только на чем нибудь вне нас, т. е. вне мира стоящем, во что можно верить всем сердцем, всю душою, всеми помыслами. То же, что г. Гаршин заставил умереть своего героя от разрыва сердца, доказывает только, что автор отступил перед трудностью окончательного решения задачи и потому предпочел оставить вопрос открытым“.

Стоящее „вне нас, вне мира“ и т. д., это, по мысли Говорухи-Отрока, религия, как он разъясняет далее, полемизируя с Михайловским. „В каждом человеке, как в герое рассказа Гаршина, всегда борется «голос плоти» с «голосом духа». Что же может заставить обыкновенного человека стать решительно и бесповоротным на сторону «голоса духа»? Да только и единственно поведение высшего авторитета, в который он верует“.

¹⁶ Русские Ведомости, 1883, № 326 от 27 ноября. Очерки литературы. Аристархов.

¹⁷ Новости, 1883, от 20 окт.

¹⁸ Русская Мысль, 1885, № 11, Библиогр. отдел. Без подписи, стр. 1—3.

¹⁹ „Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии. Повременное издание под ред. проф. И. П. Мерзеевского. Год второй, вып. 1, СПб., 1884. В отделе „Новости и смесь“, заметка И. Сикорского „Красный цветок. рассказ Всев. Гаршина, Отеч. Зв., 1883, октябрь“, стр. 344—348.

К этой же линии примыкает оценка „Красного цветка“ в брошюре Н. Шмакова „Типы Всеволода Гаршина“, Тверь, 1884: „На наш взгляд, этюд этот должен быть признан наилучшим произведением беллетристики. Отказавшись, как видно, от всякого рода «проклятых вопросов» и «глубоких задач», г. В. Гаршин рисует нам прекрасную картину из жизни душевно-больных. Написана вещь очень искусно, в стиле Брет-Гардта“ (стр. 24).

²⁰ Н. К. Михайловский, цит. статья, Северный Вестник, 1885, № 12, стр. 280.

²¹ Там же, стр. 277.

²² Русская Мысль, 1885, № 11, Библиогр. отд., стр. 1—3.

²³ Южный Край, 1883, № 1030 от 17 декабря. Цитируется в „Сочинениях“ В. Гаршина, ГИЗ, 1934.

²⁴ Русские Ведомости, 1885, № 99 от 13 апреля, Литер. Беседы. Аристархов.

²⁵ Неделя, 1885, № 12, Литературное обозрение. Подпись: „I“, стр. 459—464. См. также отрицательный отзыв о „Н. Н.“ А. Скабичев-

ского в „Новостях“, 1885, № 84 от 28 марта. Цитируется в Полн. собр. соч. В. Гаршина, т. III, стр. 508.

²⁶ Неделя, 1886, № 1, стр. 27.

²⁷ Русское Богатство, 1886, № 3 (стр. 227—241), и № 4 (стр. 206—214): „Обо всем. В. М. Гаршин“. Подпись: Созерцатель.

²⁸ Киевская газета „Заря“ 1886, № 85 от 15 мая. Литературно-журнальные очерки. С. Надсон. Перепечатано в книге: „С. Я. Надсон. Проза, Дневники, Письма“. СПб., 1912, стр. 244. Цитируется в „Сочинениях“ В. М. Гаршина, ГИЗ, 1934, стр. 347.

²⁹ Новое Время, 1887, № 3930, от 6 февраля. Критические беседы В. Буренин.

³⁰ Русские Ведомости, 1887, № 53, от 24 февраля. Журнальные отголоски. Аристархов.

³¹ Русские Ведомости, 1888, № 101 от 12 апреля. Смерть В. Гаршина. Глеб Успенский.

³² Южный Край, 1888, №№ 2508, 2509, 2510, 2512, 2514 и 2515.

³³ Попытки посмертного использования Гаршина в интересах реакционного лагеря см. также в статье В. Буренина (Новое Время, 1888, № 4343, от 1 апреля). „Если по поводу его смерти не трещат и не шумят, не бьют в бубны и литавры, не танцуют либеральных канканов под дирижерством г. Гр. Градовского, то это объясняется тем, что Гаршин был настоящий крупный талант и искренний симпатичный характер, чуждый фальшивой аффектации и самолюбивых претензий в фразисто-еврейском вкусе, — пишет Буренин. — Он не рисовался своим талантом, не гонялся за теми дешевыми овацциями «в среде молодежи», которые покупаются чаще всего или лестью и заигрыванием, или ломаньем и геройничаньем перед нею, вообще некоторым пожертвованием собственного достоинства известному кружковому направлению“. „Повидимому, покойный беллетрист обладал характером глубоким и сосредоточенным и, еще юношей, хорошо разумел вздорность многих иллюзий, обольщающих молодость“.

³⁴ Северный Вестник, 1888, № 7, стр. 1—23, 2-я нум. „Всеволод Гаршин“, М. Пр.

³⁵ Волжский Вестник, 1888, № 255, от 11 октября. Литературные заметки (письмо в редакцию) Влад. Короленко.

Линию Протопопова с большой резкостью продолжил и В. Чуйко в статье „Надсон и Гаршин“ (Наблюдатель, 1888, № 11, стр. 164—188). Приведем наиболее характерные выдержки:

„По поводу их ранней смерти в русской печати стали снова раздаваться давным давно наскучившие иеремиады относительно горькой и как бы роковой судьбы русского писателя, — о том, что он умирает рано, в цвете лет, точно гонимый судьбою. Такая печальная, будто бы, судьба русского писателя в шестидесятых годах объяснялась «заеданием среды»; теперь она, вероятно, объясняется иначе, более мистическим образом: «бессмыслием жизни» или какою-нибудь иною ходячею или модной фразой. Но все эти иеремиады не имеют реальной подкладки, не отвечают действительности, а просто являются плодами нашего плаксивого сентиментализма“.

Общая оценка литературного и общественного значения В. Гаршина сводится в этой статье к следующему:

„Подобно Надсону, Гаршин давал только то, чем сам жил в своей личной жизни, а жил он только тем, чем живет его поколение, болезненно настроенное, потерявшее веру в прежние идеалы, не имеющее никакого прочного мировоззрения, индифферентное к явлениям соборной, коллективной жизни, не создавшее себе ни новых верований, ни убеждений, путающееся в жизненных задачах и не умеющее их разрешить“.

„Современный писатель смотрит на литературу, как на простое ремесло, более или менее выгодное, или относится к ней совершенно своеобразно, полагая, что литература есть складочное место его личных чувств, обрывков мыслей, желаний и мечтаний, с этим далеко не уедешь“.

Другую позицию в отношении Гаршина занял на страницах „Вестника Европы“ (1888, № 5, стр. 239—258) К. Арсеньев. Не отказываясь от отрицательной оценки народнического пессимизма, Арсеньев отрицает пессимистический характер идей Гаршина, изображая тем самым гаршинский протест более умеренным и соответственно приближая самого Гаршина к либерализму. Его статья представляет собою, таким образом, либеральный pendant к соответствующим реакционным попыткам Ю. Говорухи-Отрока и В. Буренина.

„Был ли Гаршин скептиком или пессимистом, каким его иногда представляли? — спрашивает Арсеньев. Нам кажется, что нет. На произведениях его лежит отпечаток глубокой грусти, зависящей отчасти от обстоятельств времени, в которое он жил, отчасти от болезненности его натуры; но он никогда не терял веры в человека, так ясно выразившейся в последних его произведениях — в «Надежде Николаевне», в «Сигнале». Подобно Надсону с которым у него много общего, Гаршин часто сомневался, иногда, может быть, даже был близок к отчаянию — но это были только преходящие настроения, а не мирозерцание, овладевшее всей жизнью. Гаршин слишком много и горячо любил, чтобы потерять всякую надежду на лучшее будущее. Он знал, конечно, что никому не дано вырвать сразу «красный цветок» — но он едва ли думал, что господству его не будет конца“.

См. также некролог „Биржевых Ведомостей“, 1888 г. от 1 апреля. Литературные беседы. Евг. Гаршин.

³⁶ См. „Голос Минувшего“, 1915, № 7—8, стр. 216.

³⁷ Новое Время, 1888, № 4294 от 11 (23) февраля. Эльпе. Научные письма. Душевные состояния и внешние действия. Эльпе—псевдоним Лазаря Константиновича Попова. Л. К. Попов — естествоискусник-популяризатор, род. в 1851 г., печатал статьи по научным вопросам в журналах „Природа и Люди“, „Русская Речь“, в газ. „Голос“, с 1883 г. — в „Новом Времени“, — фельетоны „Научные письма“; отдельно издал ряд популярных очерков.

³⁸ Неделя, 1888, №№ 25, стр. 789—795 и 27, стр. 854—859. В. М. Гаршин. Р. Д.

³⁹ Там же, 1888, № 13, стр. 423 сл.

⁴⁰ Казанский Биржевой листок, 1888, № 216 от 4 октября. Петербургские письма. Я. Абрамов.

⁴¹ Русская Мысль, 1888, № 5. Очерки русской жизни, XXIV, Н. III, стр. 126—131, 2-я нум.

⁴² Колосья, 1888, № 4. А. Кузин. „Художник-пессимист“, стр. 277—284.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Глава первая	7
Глава вторая	23
Глава третья	70
Глава четвертая	111
Глава пятая	150
Примечания	
К главе первой	192
К главе второй	193
К главе третьей	197
К главе четвертой	201
К главе пятой	204

Цена 4 руб.

Перепл. 1 р. 50 к.